

В.ТУРЕНСКАЯ, П.МЕЛИБЕЕВ

В.ТУРЕНСКАЯ, П.МЕЛИБЕЕВ

КОНЕЦ ТИХОЙ ОБИТЕЛИ

В.ТУРЕНСКАЯ  
П.МЕЛИБЕЕВ

**КОНЕЦ  
ТИХОЙ  
ОБИТЕЛИ**

ДЕТГИЗ ~ 1962

Цена 38 коп.









*В. Туренская, П. Мамбеев*

# КОНЕЦ ТИХОЙ ОБИТЕЛИ

( „СВЯТЫЕ” ТЕНЕТА )

*Повестъ*



*Рисунки И. Архипова*

Государственное Издательство Детской Литературы  
Министерства Просвещения РСФСР  
Москва 1962

Повесть «Конец тихой обители» рассказывает о воспитанниках и наставниках одной духовной семинарии, о ее страшном, ханжеском, лживом быте, о преступлениях и обмане, о схоластике, выдаваемой здесь за науку.

В книге нет выдуманных фактов. Все, о чем здесь рассказывается, — правда.

Нелегко было найти верную дорогу героям книги, нелегко было им понять, что религия по самой сути своей не нужна и враждебна человеку. Но победила большая жизнь. После ряда отречений, раскрывших все лицемерие и схоластику семинарского бытия, после разоблачения многих отцов церкви на судебном процессе семинария, о которой говорится в этой книге, была закрыта.

Но духовные семинарии еще существуют, «ловцам душ человеческих» удастся проникать в иные семьи и обманывать людей.

Пусть эта повесть поможет тем, кто еще не освободился от религиозного дурмана, скорее порвать с религией, а людей, свободных от «святых» тенет, пусть она вооружит на антирелигиозную борьбу, потому что нельзя быть равнодушными к беде людей, обманутых религией.

Это наше общее дело, дорогие читатели: и твое и мое!



## Глава I

### ЛОВЕЦ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

**П**очтальон Клаша, всегда шумная, веселая, на этот раз негромко стукнула в раму. Увидев Николая, с какой-то особой ласковой и горькой заботой спросила:

— Мать дома?

— На ферме она. Нам письмо? От бати, с фронта?

— Оттуда, — глядя в сторону, ответила Клаша и, вздохнув, протянула письмо мальчику. — Передашь, когда придет.

Письма от отца приходили редко. Маленькие, свернутые треугольником. А это было заклеено в большой плотный конверт. Узнать бы, что пишет батька! Наверное, интересное, если даже в конверт заклеил. Может, рассказывает, как в разведку ходил, до самого фашистского штаба добрался.

А может, батька свою карточку прислал. В пилотке и с автоматом. Николай даже на свет письмо поглядел. Почитать

бы! Но сделать этого он еще не мог: только на будущую осень мать обещала отвести его в первый класс.

Едва Прасковья Семеновна показалась в дверях, сын радостно закричал:

— Мама, письмо от бати с фронта!

Мать рванулась к столу и вдруг, не прикоснувшись к конверту, медленно села на табурет.

— Мама, читай же письмо! — торопил Николай.

Прасковья Семеновна протянула было руку к конверту, но сейчас же отдернула, словно испугалась.

Не понимая ее тревоги, широко раскрыв серые глаза, смотрел на нее Николай. Вдруг мать решительно схватила конверт и разорвала его, оттуда выпала небольшая бумажка. Развернула — и взгляд сразу выхватил страшные слова: «Пал смертью храбрых».

Странная неподвижность матери напугала Николая:

— Чего батя пишет?

Прасковья Семеновна распрямилась и, глядя сухими, без слез, глазами куда-то поверх сыновней головы, произнесла чужим резким голосом:

— Убили. Отца твоего убили.

Значит, пришла «похоронная». Вот она какая — просто бумажка, и все. «Похоронные» теперь приходят в село часто. И тогда в доме, где ее получают, долго плачут навзрыд, причитают. А мама не причитает: как распрямилась, так и сидит, положив руки на стол. Она молчит и смотрит, смотрит непонятно куда.

Мальчику стало жутко. Сам не зная зачем, он бросился на улицу.

У плетня Петька Пороховников, одногодок Николая, рыжий, осыпанный веснушками, сосредоточенно силился натянуть на длиннолапного щенка свои старые, изорванные трусы. Щенок вилял хвостом, отбивался всеми лапами, делал вид, что хочет укусить озорника.

Увидав дружка, Петька сразу оживился:

— Колька, давай в войну играть! Ты будешь фашистом. Я тебя в погреб запру.

— Не буду фашистом. Моего батьку на войне убили.

Петя сразу отпустил щенка. Тот вскочил и, волоча на тонком хвосте замызганные трусы, юркнул в высокий бурьян.

— «Похоронную» получили?

— Получили, — всхлипнул Николай.

Кажется, только сейчас он осознал, что никогда не увидит больше отца, высокого, здорового, которому ничего не стоило подкинуть его, Коляша, под самый потолок. Не пойдут вместе

на рыбалку. Не запоет отец свои военные песни, не расскажет больше сыну, как он еще совсем мальчишкой ушел в Красную Армию, беляков бить.

Больше не будет этого. Ничего не будет. Нет отца. Убили.

Петя всегда был самостоятельнее, смелее тихого Николая, а потому относился к товарищу покровительственно, словно к младшему. Вот и сейчас он, нахмурив рыжие кустики бровей, серьезно сказал:

— Не реви, Колька. Многие сейчас «похоронные» получают. Мой батька тоже на фронте.

Когда Николай, вытерев подолом рубашки заплаканное лицо, вернулся в хату, мать, все так же выпрямившись, сидела у стола, прижав затылок к чисто побеленной стене и уронив безвольные руки на колени...

Что-то темное, безысходное навалилось на плечи Прасковьи Семеновны... Нет его... Не войдет в двери шумный, любимый, ласковый. Никогда она не услышит его голоса... Зачем плакать, если и жить-то теперь не к чему? А жить надо... Сына растить... А как жить? Как теперь сына растить? Одна.

Дни шли, а она точно окаменела. Двигалась и делала все механически, по привычке, а больше часами сидела неподвижно, сжав губы. Забегали соседки, пробовали утешить. Кое-кто, не поняв всей глубины ее горя, осуждающе качал головой: «Ей бы плакать, в голос кричать, а она ровно каменная».

Вот тут-то порог дома Бахаревых переступил отец Георгий.

— Эх, Прасковья, — укорил он, — пошатнулась ты в вере Христовой, не молилась за мужнюю жизнь денно и ночью, в храм божий дорогу забывать начала, вот и прогневался господь.

Смертельно раненная гибелью мужа, она возроптала. Гневно крикнула, указывая на сына:

— Где сердце-то у бога — мальчонку осиротил!

Отец Георгий не разгневался на богохульные слова, совравшиеся у нее в отчаянии, не ушел, не оставил ее в минуту тяжкого греха, а встал перед образом и начал молиться вслух:

— Господи, отпусти ей, неразумной, яко не ведает в горе своем, в помутнении разума, что глаголет... Сына ей сохрани... Не наказуй...

Голос отца Георгия дрожал, на глазах его появились слезы. И она, невольно вслушавшись в его взволнованную молитву, вдруг ужаснулась. Еще страшнее может наказать ее всесильный, грозный бог: отнял мужа — может отнять и сына.

Упала на колени перед образами, прижимаясь к темным доскам пола, молила бога сохранить жизнь сыну, даровать ему мир и счастье, поднимала вверх, к темноватому узкому лику спасителя, полные слез глаза.

Долго беседовал отец Георгий с потрясенной, обезволенной горем женщиной, утешал и учил, обещал покой ее душе, счастье в жизни.

— Только молись, проси милости у господя, — убеждал он.

Он говорил о жизни вечной: не умер ее муж, он в селениях господних, там, где нет печали и воздыхания...

Она слушала.

В семье, где выросла и воспиталась Прасковья Семеновна, на троицу посыпали полы чебрецом, в сочельник не ели до звезды, сядя за стол, не забывали осенить себя крестным знаменем. О бже особенно много не думали, зато обряды соблюдали.

И, выйдя замуж, она продолжала на большие праздники ходить в церковь. Петр пробовал возражать, но напрасно: всегда послушная и податливая, здесь она проявляла непоколебимое упорство:

— Мать моя в церкву ходила, и я буду.

— Да зачем?

— Молиться.

— Ну, а молиться-то зачем?

— Мать моя молилась, и я буду.

Муж иногда посмеивался, иногда, сердито махнув рукой, уходил, как всегда торопясь то в поле, то в правление. Мало ли дел у бригадира. Религиозность жены он просто считал блажью — пройдет со временем! Только строго запретил «таскать к попам» сына.

Жизнь шла, и Прасковья Семеновна под веселым напором мужа все реже бывала в церкви...

Потом война... Проводы мужа. Ожидание писем. Работа. Бессонные ночи в тоске...

И вот «похоронная»... Где-то там, далеко, на изрытых войной полях, могила Петра Бахарева.

Темно в комнате. Еле видна у окна головенка сына. Тоска на сердце. Страшная тоска... Но тоска эта от тихих слов отца Георгия уходит, отступает. В мире есть бог, он решает судьбы людей, говорит отец Георгий: и ее судьбу, и судьбу Петра, и судьбу маленького Коляша, как звал сынишку отец. Есть кого просить о заступе и помощи. И отвыкшая было креститься рука женщины снова складывается в крестное знамение.

Прощаясь, отец Георгий сказал ей:

— Приходи, Прасковья, отслужим панихиду об убиенном

рабе божием Петре, помолимся, чтобы даровал ему господь жизнь бесконечную в райских селениях. И отрока своего приводит — да сохранит его господь на счастье тебе...

Ласково взглянул священник в глаза Николая, положил слегка пахнущую ладаном мягкую руку на голову мальчика, из кармана рясы достал горстку конфет...

Каждый вечер Николай теперь видел, как мать, простоволосая, в одной рубахе, стоит на коленях перед образами и, истово крестясь, бьет земные поклоны.

В первое же воскресенье Прасковья Семеновна повела к обедне и сына.

Блестели огоньки свечей и лампад, отражаясь в тусклой позолоте, бросали блики на темные иконы, острые лучи солнца били в окна купола; проплывали голубые клубы ладана, и от сладковатого запаха слегка кружилась голова; отец Георгий в золотой ризе провозглашал непонятные, но красиво сложенные слова, торжественно пел хор. Николай замирал, забыв обо всем. А мать шептала ему:

— Молись, сынок, молись. Крестись, как я тебя учила. Боженька милости пошлет, он добрый.

И Николай крестился, как в тумане опускался на колени и кланялся, ощущая лбом холод каменных плит пола. Им овладевали новые, неизвестные до того чувства.

Потом служили панихиду. Для того чтобы отцу было хорошо, молится отец Георгий, поет хор, горят свечки, плывут голубые облачка ладана. И нужно стать на колени, чтобы исполнились слова молитв, нужно взволнованно шептать: «Господи... прими... во царствие твое...»

— Мам, а в следующее воскресенье мы пойдем в церкву? — спросил Николай у матери, когда они вернулись домой.

— Пойдем, сынок, обязательно пойдем. Ты у меня умница.

Осенью Прасковья Семеновна отвела сына в школу. Николай учился азбуке, складывал и вычитал, слушал рассказы учительницы, в них все просто и ясно, но не было той волнующей тайны, которая окружала его в часы церковной службы.

Это случилось по весне. Снег сошел с открытых мест и прятался в тени заборов, в логах и канавах. Но и здесь потемнел, готовый уйти талой водой в землю. На выгоне сквозь иссохшую прошлогоднюю траву проглядывали ярко-зеленые молодые стебельки.

— Гитлерюки засели вон там, за сараем эмтээс. Взять их лобовой атакой. Ура! За мной! — скомандовал Петька, размахивая ивовым прутьем, изображающим казацкую шашку.



Во главе орущей армии мальчишек он рванулся вперед, с налета перескочил канаву и помчался дальше. Николай запнулся перед канавой, но все-таки прыгнул, сорвался и шлепнулся в талую воду, перемешанную со снегом.

Холод, как тисками, сжал все тело.

— Колька в воду упал! — завопил кто-то из ребят.

Николай, насквозь мокрый, испуганный, уже выбрался из канавы, когда подбежали ребята.

— Эх, угораздило! Тоже мне солдат! — сердито сказал Петька и сразу забеспокоился: — Насквозь промок? Эх, и влетит теперь тебе от мамки!

У Николая зуб на зуб не попадал.

— Я домой, — промямлил он, пересиливая дрожь.

— Подожди, дурной, — остановил его Петька. — Скидывай одежду! Накинь вот мою стеганку. Сейчас всё выкрутим, на солнышке просушим, и никто не узнает...

Вечером Николай метался в жару, не узнавая даже матери.

Всю ночь просидела Прасковья Семеновна у постели сына. Меняла холодные тряпки на лбу больного. А он бормотал что-то несурзное, с трудом разжимал пересохшие губы.

Утром бросилась в амбулаторию, упростила старушку врача прийти как можно скорее.

— Нешуточное дело, — покачала головой врач, тщательно выслушав мальчика: — двустороннее воспаление легких. Но ничего, выходим.

Она подробно рассказала Прасковье Семеновне, как надо ходить за больным, дала лекарство...

Когда вечером врач опять зашла к Бахаревым, она застала мать в слезах.

— Доктор, не лучше ему. Мается он...

— Не бойся, Семеновна, — успокоила врач. — Мы вот ему сейчас укол сделаем, микстуру я принесла. А если ночью плохо станет, температура поднимется — меня зови. Хоть в ночь, хоть в полночь — зови. Выходим мальчика...

Нет облегчения, мечется, бредит сын. Сердце надывается смотреть. Бросилась к отцу Георгию. Ласковый, внимательный, встретил он Прасковью Семеновну.

— В горячке, говоришь, сынок? Тебя не узнаёт? Новое испытание посылает тебе господь. Молись!

— Молюсь, батюшка. Все время молитвы твержу.

— Еще молись, душой ко господу обратись... Врач-то был ли?

— Приходила. Лекарство дала... Уколы делала...

— И это нужно. Только вернее всего горячая молитва. Давай-ка отслужим молебен о здравии отрока Николая.

Весь молебен простояла на коленях, почти не отрывая лба от пола... Ночью опять меняла компрессы на горячем лбу сына. А когда он немного успокаивался, снова и снова обращалась к иконам, кладя поклон за поклоном в неистовом молении. И вдруг показалось ей, усталой и заплаканной, что засветился каким-то внутренним светом лик Христа на потемневшей иконе и дрогнула его благословляющая рука.

— Мам, пить! — донеслось в это время с кровати.

Метнулась к сыну. Николай жалобно смотрел на нее широко открытыми глазами.

— Жарко мне, мам... Пить дай... пить, — сказал он совсем явственно.

«Неужели лучше стало? Услышал господь молитву мою!» — подумала мать, боясь поверить. Николай опять забылся, весь красный от жара.

Доктор зашла утром. Измерила температуру. Сделала укол и ушла, пообещав забежать к вечеру.

Почти следом за ней явился отец Георгий.

— Где он, болящий?

Высокий, с пышными волосами до плеч, с русой окладистой бородой, отец Георгий уверенно подошел к мальчику, положил большую белую руку на лоб Николая и начал читать молитву.

Уже после ухода врача Николай стал спокойнее, меньше метался, а сейчас он совсем затих, дышал ровно, глубоко. И матери показалось, что мягкая рука священника сразу облегчила страдания сына, а молитва отогнала все злое, что ополчилось против ее ребенка.

С того дня Николай понемногу пошел на поправку. Старушка врач заходила уже через день, вставать еще не разрешала, зато велела есть побольше. Наведывался и отец Георгий. Сидя около постели, он негромко говорил:

— Исцеляешься, отроче? Господь внял молитвам матери твоей. Молись и ты, не забывай о боге. Все от него. Ни один волос не упадет с головы без его на то воли. Заболел ты, а над одром твоим ангел господен витал и охранял твою жизнь. Доброте господней меры нет...

Мягкая рука касалась волос мальчика, голос священника звучал ласково. Находилась у отца Георгия и горстка конфет или пряник, испеченный попадьею.

В свободную минуту мать присаживалась в ногах у сына и неторопливо рассказывала ему о Христе, о том, как он, жалая людей, спустился на землю в человеческом образе, чтобы пострадать за истинную веру.

Трудись, не лги, не прикасайся к чужому, не обижай нико-

го, будь скромным, послушным — эти ясные истины слышал он каждый день, а за ними в словах матери вставал бог, который награждает тех, кто исполняет его заветы, и карает отступников.

...Как только Николай поднялся на ноги, мать привела его, еще слабого и худого, в церковь. После обедни вместе выстояли благодарственный молебен за «исцеление от недуга».

— Как гора с плеч свалилась! Не думала я, что подыметься Коленька, — утирая радостные слезы, говорила Прасковья Семеновна священнику после молебна. — Да и то сказать, докторица до того заботливая, внимательная. Если бы не она...

Отец Георгий нахмурился и перебил:

— Не докторица твоего сына с постели подняла...

Мать смешалась, но не отступила:

— Да как же, отец Георгий, она и лекарства и уколы всякие...

— Не докторица, неразумная!.. Молилась ты, верила — вот и послал тебе господь по усердию твоему исцеление сыну. И знамение тебе было...

— Было, батюшка, было, — подтвердила Прасковья Семеновна, вспоминая, как бессонной ночью в минуту неистовой молитвы показалось ей, что дрогнула рука на иконе спасителя...

— Видишь, как милостив к тебе господь. Его благодари, — торжественно сказал священник и, улынувшись, обратился к Николаю: — А ты как думаешь, отроче, кто тебя на ноги поставил: господь или докторша?

На секунду задумался Николай. Вспомнилось сквозь муть бреда склоненное к нему лицо врача с сурово нахмуренными бровями, бегающие по телу жесткие пальцы, боль от уколов, горечь лекарства; и другое — добрые глаза и тихий голос, ласковые слова и большая мягкая рука, касающаяся горячего лба.

— Господь, батюшка, — твердо ответил Николай, преданно глядя на отца Георгия.

— Устами младенцев глаголет истина, — победно улыбнулся отец Георгий и положил руку на остриженную после болезни голову Николая. — Вещает мое сердце, что в отроче сем твоя надежда и спасение, Прасковья, только воспитай его в православной вере. А ты, Николушка, зайди-ка после вечерни ко мне домой...

С трепетом и радостью Николай в этот вечер стукнул кольцом новенькой калитки. Отец Георгий был в саду, надевал булавочные колпачки на груши, чтобы воробьи не поклевали. Вместе с Николаем поднялся на застекленную веранду, усадил

Николая в плетеное кресло. Добродушная, хлопотливая матушка угощала мальчика пирожками с малиной, чаем с сахаром. Отец Георгий показал ему много картин из священного писания. Особенно понравилась Николаю картина, где изображен был Христос, несущий на своих плечах тяжелый крест, на котором его должны распять. Согнутый огромной тяжестью, он полон смирения, а его мучители смеются. Потом отец Георгий играл на фисгармонии. Музыка была грустной и торжественной, и Николай невольно ощутил какую-то тоску. А мелодия словно вела за собой, звала в неизвестные, но светлые края.

Реже стал Николай встречаться с Петькой. Только на рыбалку по-прежнему ходили вместе. На берегу реки тихим вечером решил как-то Николай рассказать Пете о том новом, что постепенно заполняло его жизнь. Начал он со своего чудесного исцеления.

— Тю! — засмеялся Петя. — Чудесное! У меня лихорадка была, докторицу позвали, так она меня за неделю на ноги поставила, а ты месяц провалялся.

— Докторицу и ко мне звали, — сказал Николай.

— А болтаешь «чудесное»! — передразнил Петя. — Доктор тебя вылечил, вот и все.

— И нет, — спорил Николай. — Понимаешь... Мама молилась. Глядит, а на иконе рука дрогнула...

— Так она же нарисованная. Чего это она дрыгать станет? Не бывает этого.

— А вот бывает. Мама бога просила, чтобы мне поправиться.

— Просила и помог? — насмешливо переспросил Петя.

— Помог!

Ум у Пети был настроен весьма практически.

— А ты попроси его... пусть он тебе на удочку шуку pošлет или стерлядку. А?

Николай не ответил, но весь сосредоточился на одном желании: «Господи! Ну что тебе стоит... Шук-то в речке хватает...»

Как только поплавок начал плясать, Николай весь напрягся. Шука?! Он видел ее хищную пасть, ладное верткое тело. Сейчас оно блеснет на солнце серебряной чешуей. Вот мать обрадуется! Целую сковороду рыбы нажарит.

Но клева не было. Юркие пескарики, словно дразнясь, объедали червей, не задевая крючка.

Через час, даже кошкам на обед не наловив, собрались домой.

— Ну, где твоя шука? — уничтожающе хмыкнул Петя.

Николай, сердито насупившись, не знал, что ответить. А Петя и по дороге, сверкая озорными зелеными глазами, все подшучивал над дружкой:

— Не послал боженька шуку? Какой же он всемогущий? Ты спроси у своего Георгия, может ли бог такой камень сделать, что и сам не подымет.

— Чего ты выдумываешь? — рассердился Николай. — Зачем богу камни подымать?

— Не выдумываю. Это батька рассказывал. Он еще при царе учился. Тогда в школе закон божий преподавали, это про бога штуки всякие. Вот батька мой и спросил про камень у попа. Если, говорит, бог не может сделать такого камня, выходит, он не все может, а если сделает и не подымет — обратно, выходит, не всемогущий... А поп разозлился, аж волосья на голове встали, ртом воздух хватает, ровно рыба какая, а потом и выгнал батьку из класса...

Николай ничего не ответил и поспешно свернул в проулок...

Вечером, прибежав к отцу Георгию, он с обидой не то на Петьку, не то на бога выложил священнику все: и про шуку и про камень.

Нахмурилось лицо отца Георгия.

— Суетны и пусты такие мысли. Просьба твоя, Николай, была неразумной. Что ж ты, бога в батраки нанять хочешь? Подумай сам: только и дела ему — босоному мальчишке шук на крючок цеплять! У него других дел хватает. Не поминай имени господа бога всуе, не тревожь его неразумными просьбами. Что же камня касается — глупый и ненужный разговор темных людей, не понимающих величия божия. Не слушай их!

Складно и внушительно говорил отец Георгий. А пытливые глаза мальчика смотрели ему прямо в рот, впитывая каждое слово. Священник рассказывал о том, как мудро устроен богом мир:

— Из ничтожного семечка развивается дерево; рядом с неокрепшим детенышем есть мать, питающая его молоком своим, — во всем премудрость творца, во всем воля его...

Повстречав как-то Прасковью Семеновну, широким взмахом руки благословил ее отец Георгий и сказал:

— Умен у тебя сын растет, Прасковья. Умен и к богу душой привержен. Голос хорош у отрока твоего — на клиросе бы ему петь.

Скоро детский чистый голос вплеся в общий церковный хор. «Дивна дела твои, господи. Вся премудростью сотворил еси...»

ВЫБОР СДЕЛАН

**Н**у откуда взялся такой на мою голову! — Нина Сергеевна сердито швырнула классный журнал на стол в учительской.

— Опять Пронин баловался? — взглянула поверх очков на молодую учительницу Мария Михайловна — преподаватель литературы.

— При чем тут Пронин! Лучше десять таких сорванцов, как Пронин, чем один Бахарев.

— А что? Коля серьезный мальчик. Вот как раз проверила его сочинение. Очень обстоятельно раскрыл образ Онегина. И ошибки ни одной нет. — В подтверждение своих слов Мария Михайловна развернула тетрадь Бахарева. — И на уроках ведет себя отлично. Хороший ученик.

— Голова у Бахарева светлая, — одобрительно хмыкнул преподаватель математики. — Светлая... Заниматься с таким легко — все на лету схватывает.

— Да поймите, это еще не все! — загорячилась Нина Сергеевна. — Мы прежде всего за мировоззрение ученика отвечаем. Как его от этой религиозности вылечить?

— Семья, — развела руками Мария Михайловна. — Здесь очень трудно повлиять. Мать у него, говорят, в церковь ходит.

— И на семью влиять надо, — не сдавалась Нина Сергеевна. — Нельзя мириться. Этот Бахарев весь класс испортит. Я уж и пионервожатой поручила не выпускать его из поля зрения...

Сама Нина Сергеевна не забывала, что голова у Бахарева «забита религиозной чушью». Вот только сегодня на уроке химии она, поглядывая на «трудного» ученика, показала несколько опытов, разоблачающих «чудеса».

Закончив удачно прошедшие опыты, она спросила:

— Бахарев, теперь ты понимаешь, что никаких чудес нет, там, где вмешивается химия?

— Понимаю. Там, где вмешивается химия, чудес нет, — спокойно ответил Николай. — Это просто химические опыты. А когда вода превращается в вино, а свечи загораются сами — это чудо.

— Ничего ты не понял, Бахарев! Все библейские чудеса — чушь, выдумки! — не выдержала Нина Сергеевна.

— Нина Сергеевна, — все так же спокойно спросил Николай, — а вы читали Библию?

— Какие ты глупости спрашиваешь, Бахарев? Не читала и читать не буду, — отрезала учительница.

— Как же вы можете оспаривать то, чего даже не знаете! — с каким-то снисходительным превосходством сказал Николай и сел на свое место.

Не найдя, что ему ответить, Нина Сергеевна вышла, хлопнув дверью.

Было от чего испортиться настроению молодой учительницы. Она сорвалась, не ответила по существу. Мальчишка, набитый религиозными предрассудками, оказался сегодня сильнее ее. Сейчас он, конечно, торжествует победу...

Но, едва закрылась дверь за преподавателем, Пороховников своей неторопливой походкой подошел к парте Николая и, насунив рыжие брови, в упор спросил:

— Колька, ты долго будешь тут разводить свою муть? Кого ты сагитировать хочешь?

— Я никого не агитирую, — пожал плечами Николай. — Меня спрашивают, я отвечаю.

— Подумаешь, он отвечает! — возмутилась Тая Макарова. — Тебе твой отец Георгий в уши напоеет, а ты и повторяешь.

Николай не ответил. Он уже научился молчать.

Серьезные столкновения с товарищами у него начались еще в прошлом году, в седьмом классе. Раньше тот же Петя добродушно подсмеивался над Николаем, над его пением на церковном клиросе. Неугомонная Макарова бросала что-нибудь вроде: «Попенок-опенок» или «У попа-то рукава-то, батюшки!»

В середине прошлого года вспыхнула первая крупная ссора. Всезнающая Аня Коробкова однажды сообщила чрезвычайную новость:

— Девочки, а Колька Бахарев попом стал.

— Что ты выдумываешь! — остановила ее Тая Макарова. — Разве такие попы бывают?

— Вот с места не сойти! — настаивала на своем Аня. — Может, и не попом, тогда дьяконом. Сама видела.

— Ты пионерка, а в церковь ходишь? — набросилась на нее Тая.

— Ну и что? Просто забежала посмотреть... Интересно же. А Колька в каком-то балахоне впереди дьякона со здо-ро-вой свечой идет. А потом попу кадилу подавал. Поп ею помашет и обратно Кольке отдает.

Петя встретил тогда Николая в дверях класса:

— Ты чего ж, Колька, совсем попом заделался? Даже кадилой машешь?



— Исключить его из школы... Пускай не позорит наш класс!



— Это мое дело, — не глядя в глаза товарищу, ответил Николай. — И, между прочим, не «кадилой», а «кадилом». Средний род...

Он хотел пройти к своей парте, но Петя загородил ему дорогу.

— Нет, ты скажи: ты за нас или против? И дальше будешь попу подпевать и кадилом махать?

— Буду! — вскинул глаза Николай, и во взгляде его была не по-детски твердая воля, убежденность в своей правоте. — Буду верить в бога. И ты поверишь в него, когда разума наберешься.

— Черта с два! — обозлился Петя.

— Исключить его из школы надо, — выскочила Тая. — Пускай не позорит наш класс!

— Не туда, Тайка, загнула, — остановил ее Петя. — Никто его исключать не будет. Не слепой он, поймет.

— Ленин же в бога не верил. Ленин! Понимаешь ты, дурья башка! Уж Ленин-то знал, есть бог или нету...

Петя пробовал говорить с Николаем наедине.

— Брось ты со своими попами возиться, — убеждал он, ероша свой рыжий чуб. — Ты погляди, кто в бога верует: старухи да старики. Батяка же твой ни в какого бога не веровал, уж он-то понимал. Ты смотри, как его в колхозе помнят и уважают. Поглядел бы твой батяка на тебя, дурака. Нет, Колька, правда, брось ты чудить! Помнишь, как нам Нина Сергеевна объясняла: попы учат молиться да терпеть. Вы, дескать, рабы божьи. Вот как обзывают: рабами!

Немало было таких столкновений. Сначала Николай горячился, спорил, потом стал отмалчиваться, все больше отдаляясь от товарищей. Ему казалось, он знает больше, чем они.

Отец Георгий давал ему богословские книги. Туманные и поэтому звучащие очень значительно слова о непознаваемости мира, о святой троице, вечном спасении, небесном царствии волновали Николая. Многого он не понимал и засыпал священника вопросами. Отец Георгий хвалил юношу за мысли о божественном, но предупреждал, что надо паче всего бояться гордыни разума.

— «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну», — приводил отец Георгий библейское изречение. — Не размышлять надо над величием божьим, мало ли вопросов может задать гордый разум. От сатаны идет всякое мудрствование, поиски доказательств. Надо верить в простоте сердца, — тихо говорил отец Георгий и начинал один из многих рассказов о силе веры.

Потух, не гудит самовар, свет лампы отражается на чашках, на вазочках с вареньем. Подперев голову рукой, слушает матушка, не отводит глаз от благостного лица священника Николай. А отец Георгий неторопливо повествует о первых христианах-мучениках.

Перед Николаем встает шумный Рим, огромный Колизей, переполненный жестокими, озверевшими язычниками. Рычание диких зверей, кровь, смертные крики... На широкой арене цирка — маленькая группа мучеников. Седобородый пастырь высоко подымает крест навстречу разъяренному льву; девушка в белом одеянии, с распущенными волосами, стоя на коленях, молитвенно сложила руки и готова безропотно принять венец мученицы...

Не замечает Николай, что в его глазах стоят слезы. Ему кажется — нет большего счастья, чем оказаться сейчас рядом с седым патриархом, с девушкой, готовой принять смерть во спасение.

— Христианство — это подвиг. Истинная вера часто претерпевала гонения и от того сильнее становилась. Нелегко и сейчас... — Не досказав фразы, отец Георгий обращается к Николаю: — А что, Николушка, не воспеть ли нам с тобой хвалу господу?

Николай давно научился подбирать на старенькой фисгармонии церковные мелодии. И почти каждый вечер в доме священника заканчивался пением псалмов.

Со всем, что волновало Николая, он шел прежде всего к отцу Георгию. Тот выслушивал внимательно, склонив к плечу сидящую голову. А потом давал свое толкование. Нет, он не порицал окружающего — он только отвлекал мысли Николая от всего земного. Нет, он не наталкивал юношу на споры с товарищами, наоборот — вероятно, не надеясь на силы питомца, — предостерегал от столкновений. Неверие товарищей и учителей Николая он объяснял их «скудоумием», неумением понять «божественное начало мира». Против их нападков на Николая священник вооружал его словами: «Не ведают, что творят».

И Николай усвоил, что спрашивать о законах химии надо у Нины Сергеевны, а на вопросы о боге, о жизни ответит отец Георгий.

— Живи в себе. Не открывай чувств своих не способным понять их, — учил отец Георгий.

И это твердо усвоил Николай.

Последнее резкое столкновение с товарищами у него произошло в восьмом классе.

Позади осталось пионерское детство. Один шаг отделял от

комсомольской юности. Изучали устав, читали о героях-комсомольцах. Мечтали о больших делах, спорили о подвиге и по-юношески нетерпимыми становились к недостаткам друг друга.

— Смотри, Бахарев, не бросишь в церковь бегать — не примем в комсомол, — предупредила Тая Макарова, уверенная, что выбора быть не может: конечно же, Николай, как и все, хочет быть комсомольцем.

— А я в комсомол не собираюсь, — хмуро ответил Николай.

— Ах, ты вот как! — даже задыхнулась от негодования Тая. — И комсомол для тебя ничто...

— Я этого не сказал, — торопливо ответил Николай. — Но не всем же быть комсомольцами.

Он хотел только одного: пусть его не замечают, пусть не будет упреков, уговоров, обличительных речей на классных собраниях, у них своя дорога, у него своя.

И к Бахареву привыкли к такому, как он есть. Учился он хорошо и даже как будто стал немного активнее: иногда приходил на школьные вечера, с большим рвением помогал украшать школу к дням праздников. Это успокаивало товарищей, казалось, что Николай становится ближе к ним. Вот он уже молчит, не спорит, значит, считает себя неправым.

Шла десятая весна школьной жизни. И, пожалуй, не до Николая было Пете и Тае. Еще шаг — и распадется перед ними вся жизнь. Сколько интересного на свете: работа, люди, книги...

А Николаю было тревожно и беспокойно. Как сложится жизнь? Она пугала его. Одиночество начинало тяготить. В эти дни он и получил письмо от дяди.

Андрей Петрович Бахарев ушел из родного села в конце двадцатых годов по комсомольскому призыву. На лютom морозе и ветре он монтировал домну в Сибири. Потом его послали на шахты. Там он впервые опустилсЯ в забой. От кайла перешел к отбойному молотку, освоил врубовую машину. Учился на рабфаке, заочно кончил горный институт. Теперь работал сменным инженером все на той же шахте.

Перед самой войной дядя заезжал к ним. Высокий, как и отец, со стальными мускулами, обладал он огромной силой. Его басовитый голос, казалось, не помещался в их хате. Сначала Николай даже испугался дяди, такого громоздкого и сильного, но очень скоро полюбил. Дядя оказался веселым, даже озорным. Таким, с черными кудрями и огромными сильными руками, и запомнил его Николай.

Письма писал Андрей Петрович редко, но, когда осиротел

Николай, частенько присылал Прасковье Семеновне деньги и подарки для племяша.

«Ты скоро кончаешь школу, — написал в этот раз дядя Андрей. — Забирай мать, Николай, и приезжай сюда. Определию я тебя на шахту, учиться будешь в вечернем институте».

Какого юношу в восемнадцать лет не потянет куда-то далеко, в неизведанные земли?

Петя даже подпрыгнул от зависти и взъерошил рыжий чуб, когда Николай показал ему это письмо.

— Вот здорово, Колька! Ты обязательно поезжай, чего тут думать. Сибирь! Это знаешь какое дело!

Затревожилась Прасковья Семеновна, прочитав письмо деверя:

— Все хорошо, Николушка, а как же я колхоз брошу? Кому коров своих передам на ферме? И опять же отец Георгий как на это посмотрит. Что он тебе скажет?

И пошел Николай с письмом дяди к отцу Георгию.

Надев круглые очки, священник неторопливо прочитал письмо. Сложил его и долго сидел молча, ничем не выдавая своих истинных чувств. Потом тихо, словно немного обиженно, произнес:

— Не то я прочил тебе, Николушка. Видел я перст божий, указующий на тебя. И ты душой богу предан. Не под землей, а в небе бога искать надо. Иди, подумай об этом, чадо мое.

Отец Георгий положил руку на голову Николая, ласково и проникновенно посмотрел в глаза юноше.

— Иди, подумай сам, — повторил он и широким крестом благословил Николая.

Долго ходил Николай узкой, поросшей травой тропкой над речкой. Нет, он не хочет чем-нибудь огорчить своего наставника, только отец Георгий может указать ему путь в жизни, праведный, достойный немногих.

— Что делать мне, отец Георгий? Укажите, — преданно глядя на священника, сказал Николай, придя вечером в уютный домик отца Георгия.

— Ты ищешь смысла жизни? Ты хочешь постигнуть мудрость Божию? — на этот раз сурово заговорил отец Георгий. — Разве место твое под землей, в шахте, среди грубых людей, забывших бога? Не к тому я готовил тебя.

Священник некоторое время смотрел на Николая суровым, укоризненным взглядом, а потом торжественно спросил:

— Готов ли служить господу богу нашему, отдать ему всю душу свою?

— Готов, батюшка, — твердо ответил Николай.

— Тогда тебе прямая дорога в духовную семинарию.

Николай растерялся. Даже прислуживая иногда в церкви, он ни разу не подумал о том, чтобы стать священником. Сможет ли он? По словам отца Георгия выходило, что служение богу — нелегкий подвиг.

— В семинарии ты постигнешь всю глубину вероучения, укрепишься на пути праведном, — продолжал отец Георгий, прочитав колебание в глазах Николая.

Он рисовал семинарию как подлинный «храм науки», говорил о пастырском подвиге. И Николаю вдруг страстно захотелось идти своей, особой дорогой, указанной ему отцом Георгием.

Услышав от сына о семинарии, мать испугалась. В бога она верила, радовалась, что сын, не в пример другим, вырос верующим и богобоязненным, но чтобы он стал священником... Трудно ей было с этим согласиться. Не очень-то чтят в народе попов. Сколько сказок и побасенок идет о них, об их жадности и никчемности! И над ее Коленькой будут смеяться. Легко ли это матери? Бог богом, а в колхозе сейчас в почете и уважении те, кто трудится на поле, на ферме.

И снова в дом Бахарева вошел отец Георгий.

Благостно глядя на Николая, говорил об избранниках божьих, пересыпал свои слова церковными речениями.

Мать, как и в церковной службе, понимала далеко не все, но мудреные славянские выражения, которые вплетал в речь священник, придавали особый вес его словам, настраивали ее на торжественный лад и невольно умиляли.

— А я свидетельствую тебе перед господом нашим, что, преодолевая с юности своя все мирские соблазны, твой сын стоит на правильном пути, — говорил священник. — Верь мне, Прасковья, призван он богом с отрочества его.

— Вроде и так... — мялась Прасковья Семеновна. — Только вот дядя письмо ему прислал. Зовет. Обещает на хорошую работу устроить...

— Это под землю-то? Ты ли это говоришь мне, Прасковья! — нахмурился священник. — Хочешь обречь чадо свое на каторжный труд под землей, чтобы ползал он, аки червь ничтожный?

— Зачем же? — запротестовала мать. — Шахтеры теперь в почете. Опять же вот у кумы Василисы сын на врача учится. Соседка, мать Пороховникова Петра, тоже выхваляется, что сын ее на ста гектарах один станет кукурузу растить.

— В этой жизни величаются своими детьми, — сверкнул глазами отец Георгий, — а там, за гробом, понесут страшную

кару за то, что не взрастили их в Христовой вере. Не радоваться надо им, а горько рыдать о детях, погубивших души свои!

— Бога забыли, это верно, — вздохнула мать и перекрестилась.

А отец Георгий, заметив колебание на лице женщины, сумел польстить ей:

— Твой Николай станет молитвенником перед престолом божьим, вымолит у господина часть небесную для своей матери. И от людей почет тебе будет.

Погас робкий протест, что возник было в душе Прасковьи Семеновны. А может, и хорошо получится, по-батюшкиному? Представила сына перед алтарем, в облачении. Вот возглашает он: «Слава тебе, показавшему нам свет!» И люди опускаются на колени. При встречах на улице старушки будут с почтением кланяться ей, матери «отца Николая». Ну конечно, и достаток появится в доме, — вон отец-то Георгий как справно живет.

Не устояла мать — дала свое благословение...

Перед выпускными экзаменами директор школы собрал десятиклассников. Почти все юноши и девушки уже знали, что будут делать после школы.

— Поеду на «Ростсельмаш», хочу стать токарем..

— Буду летчиком-испытателем! Не сразу, конечно... Пока пойду в авиационную школу.

— А я геологом — разведывать месторождения нефти. Знаете, как это здорово!

Петя Пороховников коротко сказал:

— Останусь в колхозе трактористом.

Встала Тая Макарова, секретарь комсомольской организации:

— Это правильно — нечего родной колхоз бросать. Мы с девочками, — она назвала фамилии четырех подружек, — на молочную ферму пойдем.

Николай молчал. Последние годы он, казалось, мало чем отличался от других ребят. И все же он больше всего беспокоил директора. О чем сейчас думает этот тихий, замкнутый юноша?

— А ты, Бахарев? — осторожно спросил директор. — Останешься в колхозе? Здесь твоего отца люди хорошо помнят. Или тебя привлекает завод?

— Ого, Колька в шахтеры наметил! — оживленно воскликнул Пороховников. — Его дядька в Кемерово зовет.

— Нет, я дальше учиться буду, — недовольно оглянувшись на Петра, тихо ответил Николай.

Он не сказал, где будет учиться, и сам не понимал, почему скрыл, что поступает в семинарию.

А лицо директора выразило явное облегчение, да и среди ребят прошел одобрительный шумок: судьба Николая заботила многих. Ответ всех успокоил: кончал школу Бахарев с хорошими отметками, поступить в институт ему будет легко — пусть учится, а там до конца разберется, где право, где лево.

Юношам и девушкам, выбиравшим между мелиорацией и агротехникой, полетами в стратосферу и журналистикой, обучением детей и выплавкой стали, и в голову не пришло, что за словами Николая стояла духовная семинария. Они просто не знали о ее существовании.

### Глава III

#### В ТИХОЙ ОБИТЕЛИ



Николай в семинарии.

С каким трепетом еще совсем недавно он свернул с шумной улицы в тихий двор Крестовоздвиженской церкви!

Он уже знал, что эту церковь называют архиерейской, потому что в ней справляет богослужение в торжественные дни архиепископ Ставропольский и Бакинский Антоний. Здесь у царских врат стоит его архипастьрский посох.

Истовым крестом осенил себя Николай, глядя на замкнутые двери храма. Вот то, к чему он стремился! Николай прошел двором мимо служб и гаражей, обогнул церковь, прошел мощеной дорожкой меж цветников, огороженных невысоким штакетником, и остановился перед дверью. Слева от нее висела небольшая черная доска с крестом и надписью славянскими буквами: «Ставропольская духовная семинария».

Экзамены он сдал легко. Торжественно прозвучало вступительное слово отца ректора о том, каким должен быть пастырь православной церкви.

— А кто чувствует, — сурово предупредил ректор, — что не сможет преодолеть свои греховные слабости, пусть сегодня же уйдет отсюда.

Уйти отсюда? Николай даже внутренне вздрогнул. Он счастлив, он готов забыть все постороннее и целиком отдать себя служению богу, он все силы приложит, чтобы стать достойным пастырем церкви.

Пусть там, за стенами семинарии, кипит жизнь, тревожная, бурливая, полная соблазнов и суеты. Дыхание ее не коснется

Николая. Он в тихой обители, где звучат слова молитв и песнопений. Рядом с ним — другие юноши, предавшие свое сердце и свои помыслы богу. Рядом с ним — мудрые и кроткие воспитатели, которые помогут ему достичь великой и прекрасной цели.

Затуманившимися глазами он смотрит на отца ректора, и вдруг взгляд ректора останавливается на нем. Да, именно на нем! Взгляд отца ректора становится очень мягким, и голос звучит уже не сурово, а ласково:

— Но я верю вам, верю, что пришли вы сюда с чистыми, открытыми богу сердцами.

«Да! Да! Только так!» — готов крикнуть Николай.

Вокруг просветленные юношеские лица, взволнованные глаза. Наконец он нашел себе товарищей! Здесь не посмеются над тем, что дорого ему, не оборвут его, здесь можно свободно делиться самым сокровенным.

Какой внутренний свет лежит на лице воспитанника Василия Нагоды! За всенощной или обедней крупный, широкоплечий, он истово крестится перед каждой иконой, опускается на колени, а потом благоговейно прикладывается к ней, шепча слова молитвы. Он до изнурения соблюдает все посты, не пропуская ни одной службы, сетует, что идут они не по монашескому чину.

— На Соловках, в Соловецком монастыре, рассказывают, — говорит он взволнованно, — литургия кончалась, а уж время было вечерню служить. Вот это умели молиться! Помнили бога!

Отрешенным от жизни казался Николаю и воспитанник Иголенко. Он умеет ограничить себя во всем, очень много читает, но книг «мирских», как он говорит, даже знать не хочет, читает только духовную литературу.

В двадцать лет у него нет никаких интересов за стенами семинарии и церкви.

Усердно занимается маленький, чахлый Добылев. Николай так и видит его всегда с толстыми кипами под мышкой, похожего на букву «Ф». Он не спускает глаз с преподавателя, кажется, что он просто впитывает каждое слово.

А Павлик Гурин! Как неслышно и мягко движется он, каким тихим голосом говорит, как смиренно смотрит! Николай очень удивился, услышав, что Гурин в прошлом боксер. Рассказывали, что даже портрет его был напечатан в журнале. Но сейчас ничто не напоминало о его недавнем занятии. Наоборот, ходил он, чуть опустив красивую голову с правильными чертами лица, и слегка сутулил плечи.

Как-то Николай случайно задел его, столкнувшись с ним в



дверях. Гурин первый кротко произнес «простите». Все свободное время Павлик отдавал выпиливанию и вытачиванию крестов из дерева и кости. Он не ленился и встать пораньше и лечь попозже. Он неустанно шлифовал и обтачивал большие и малые кресты и крестики, наперсные и нательные. Не разгибаясь трудился он еще до утренней молитвы, трудился и на пе-



ременах. Даже на лекциях, подняв на отца ректора внимательные глаза, весь отдавшийся рассказу о событиях священной истории, Гурин, не глядя, продолжал привычную работу.

Еще с большим почтением относился Николай к старшим воспитанникам.

Некоторые из них уже имели сан, уже были пастырями и в своем облике приобрели то достоинство, неторопливость жестов, благостность лица, что должны отличать священнослужителя. Многие из них отпустили длинные волосы, обзавелись бородами.

Не слышал Николай здесь грубого слова, необузданного хохота, никто не называл его Колькой, звали полным именем и чаще всего обращались на «вы». Все здесь иное, чем в школе, и кажется Николаю более строгим, красивым, одухотворенным.

С жадностью набрасывается Николай на занятия, внимательно слушает лекции, накрепко заучивает целые страницы священного писания.

Еще недавно учил он алгебру, геометрию, русский язык, а сейчас будет постигать глубины Ветхого и Нового завета. Даже расписание волнует Николая. Пестрят в нем названия наук, которые изучают единицы, изучают избранные, как говорил отец Георгий. Тысячи тысяч юношей не знают, что такое литургика<sup>1</sup>, сравнительное и нравственное богословие, а Николай станет изучать их. Сознание исключительности своего положения удваивает его силы.

---

<sup>1</sup> Литургика изучает церковное богослужение.

С каким волнением первый раз надевает он семинарскую форму — отглаженные черные брюки, глухой черный китель! Пусть простота и строгость одежды этой помогут и душе его стать простой и строгой, избежать ненужных соблазнов.

Николай получает семинарский значок. Он так взволнован, что пальцы его не слушаются.

— Давайте, Бахарев, я вам помогу, — слышит он голос отца ректора. — В добрый час!

Ловкие, красивые пальцы прикрепляют значок на грудь Николаю.

От рук отца ректора пахнет хорошими духами, и только слегка смешивается этот запах с запахом ладана.

Отец ректор умеет добрым взглядом, задушевым словом привлечь к себе сердца молодежи. Он, отец Михаил Радецкий, всегда оживлен, внимателен к каждому семинаристу, разговорчив, любит, мягко улыбаясь, пошутить. А сколько он видел! Жил и в Польше и в Румынии, есть ему о чем рассказать: большие города, люди, с которыми сталкивала жизнь, их обычаи, горе и радости. А сколько читал! Петрарка и Данте, Дюма и Фейхтвангер...

Отец ректор говорит о писателях и поэтах, художниках и музыкантах, называет имена, неизвестные воспитанникам, но о чем бы ни говорил он — о французской революции или завоеваниях Кортеса в Южной Америке, — он умело поворачивает беседу и завершает ее разговором о вере и боге, которые нужны людям.

Он и внешне обаятелен, держится свободно и непринужденно. У него легкая походка, он высок и строен, тщательно холит свою черную, с легкой проседью бороду. Глаза его за стеклами очков поблескивают насмешливо и дружески. Ходит он в обычном костюме, темном галстуке. Летом носит светлый китель. Встретиться с ним на улице — пожалуй, и священником не сочтешь. Рясу надевает редко, только на лекции или в церковь. Обычно она висит в учительской. «Значит, — думается Николаю, — можно быть и верующим человеком и священником, но совсем не обязательно подчеркивать это своим внешним видом, можно и выглядеть вполне современно, знать литературу и историю».

Под праздник покрова Николай увидел отца ректора за молитвой. Его красивая голова была вскинута вверх, туда, где над царскими вратами парит голубь — дух святой. Николай знал, что должен сам сосредоточиться на церковной службе, что нельзя быть нескромным и наблюдать за своим наставником в минуту, когда он отдается молитве, но лицо отца ректо-

ра было таким вдохновенным, что Николай не мог отвести от него взгляда.

«Хочу быть таким! — говорил он себе и, опустившись на колени, молился. — Господи, научи, вразуми, дай силы».

Всенощную в этот день служил сам владыка. Преосвященный вышел из алтаря и, слегка прихрамывая, прошел к кафедре посреди церкви. Двое из старших семинаристов в облачении иподьяконов<sup>1</sup> поддерживали преосвященного под руки.

Одного из них Николай уже знал. Это был Юрий Мигаев. Николай подумал, что это, должно быть, один из лучших воспитанников семинарии, раз приблизил его к себе владыка. «Вот счастливый!» — думал Николай, видя, как Юрий принимает из рук владыки архиерейский жезл и относит его к царским вратам.

Бахарев смотрит на седую, властно приподнятую голову владыки в черном клобуке со сверкающим крестом и вдруг видит слезы на его глазах. «Так вот он какой, священной жизни человек, вот как слезно сокрушается о грехах людских!» — думает Николай.

Горячая волна окатывает его сердце. Скорбно поет хор, мерцают свечи, клубится ладан. Все горячее молится Николай, благодаря бога за то, что привел его сюда, в тихую обитель, что поручил его заботам отца Михаила, что дал ему увидеть слезы сокрушения на глазах владыки.

#### Глава IV

### РАЗГОВОР В ТЕМНОТЕ

**В** часы подготовки уроков семинаристы разбредались по всему зданию, сидели в классах, в столовой и твердили вполголоса греческие спряжения, тропари<sup>2</sup>, заучивали порядок службы при совершении таинств<sup>3</sup>, читали историю раскола в православной церкви. Однажды в часы подготовки

---

<sup>1</sup> Иподьякон — прислуживает архиерейскому во время церковной службы.

<sup>2</sup> Тропарь — церковная песнь в честь какого-нибудь праздника или святого.

<sup>3</sup> Церковь называет «таинствами» обряды при совершении крещения, брака, исповеди и пр.



погас свет. И вот тут, в темноте, когда трудно было определить, кому принадлежит голос, и развязался первый раз при Николае совершенно откровенный разговор о том, что больше всего волновало многих семинаристов, — о приходах<sup>1</sup>.

Николай не верил своим ушам: десять минут назад в этой комнате заучивали молитвы и тексты священного писания, а сейчас, волнуясь, захлебываясь, молодые люди заговорили откровенно, цинично. Каждая фраза дышала самой неприкрытой и разнузданной жадой стяжательства.

— А этого, из Грозного, уже рукоположил<sup>2</sup> владыка!..

— Теперь уйдет, только бы вымолить приход побогаче.

— В Красногвардейском за два года молодой священник дом купил, «Победу», — нараспев, мечтательно произнес елейный тенорок.

— И на книжке, поди, хватает! — вздохнул кто-то.

— А ты думаешь!

---

<sup>1</sup> Приход — низшая церковная организация христианской церкви, местность, где живут прихожане данной церкви.

<sup>2</sup> Рукоположение — посвящение в служители культа специальным обрядом, куда входит возложение рук на голову посвящаемого.

— В таком приходе послужить бы господу богу! — завистливо вздохнула темнота.

— Нет, братцы, меня бы во дьяконы привел господь, — пророкотал молодой басок.

— Чего хорошего? Бас, правда, у тебя...

— А что? Не прогадает, — словно взвешивая, опять откликнулся тенорок. — «Могий вместити да вместит».

— Конечно, не прогадаю! Ты думаешь, я так, с маху решил? Нет, брате, я все обдумал. — Басок рокотал обстоятельно, видно было, что его обладатель слов на ветер не бросает. — При дележе доходов свои законные части, дьяконские и деньгами и натурой, везде получу, а дьяконом владыка преосвященный в городе благословит остаться или пошлет в богатый приход — в маленьких приходах священника с псаломщиком за глаза достаточно.

— Мудро! — коротко вырвалось из темноты, словно точку поставили на рассуждениях баска.

— Была бы милость владыки, а приход богатый не сорвется, — протянул кто-то.

— Милость! — В темноте раздался негромкий смешок. — Милость заслужить надо.

— Поучись у Юры Мигаева, он знает, как владычнюю милость получить.

Николай, крепко стиснув пальцы, вслушивался в темноту: неужели никто не скажет о священническом подвиге, о свете правды, об утешении сирых и убогих? Но в темноте негромко перечислялись названия богатых приходов, имена удачливых выпускников, уже заложивших прочную основу своего благосостояния, жадные губы словно обсасывали чужие доходы.

Вдруг вкрадчивый голос произнес:

— Умный батюшка любой приход в золотое дно преобразует: не поленись сказать проповедь со слезой, чтобы до пяток бабенок прошибло, побеседуй душевно со старушками, посетуй на оскудение веры, не чинись домой к прихожанам сходить, одну требу свершишь — а несколько человек в сети духовные уловишь.

— Спасителя звали «ловцом душ человеческих». По его стопам пойдешь — не ошибешься...

Николай не мог больше слушать. Встал, ошупью направился из класса.

Уходя, услышал встревоженный возглас:

— Юрий! Ты это? Куда?

И ленивый отклик Мигаева:

— Здесь я! Чего испугался?

— Думал, ты к владыке пошел, — очень тихо, но с какой-то внутренней издевкой прозвучал ответ.

В темноте опять пробежал нехороший смешок и сейчас же оборвался.

Николай прошел коридором. Впереди серела полуоткрытая дверь. Выйдя на улицу, опустился на скамью. Над ним были звезды, чуть пахло осенью — прелым листом, увяданием. Почувствовать бы сейчас, как чувствовал обычно, соприкасаясь с природой, что мир хорош! Не мог. Мешало ощущение придушенности, казалось — на лице какая-то липкая паутина. Провести бы ладонью, снять, но и ладони были липкими. Невольно поежился от физического ощущения нечистоты. Еще сегодня он пел, встав из-за стола, и голос вливался в согласный хор: «Не лиши нас и небесного твоего царствия». Об этом просили юные голоса справа и слева от него, об этом просили и глаза, вдохновенно и покорно смотрящие на образ в углу. Неужели сейчас эти же самые голоса метались в темноте, задыхаясь и пришептывая, завистливые, расчетливые и жадные!

Но, может быть, он неправ? Промолчал он — могли промолчать и другие. Не у всех же стяжательство на уме.

— «Ей, господи, царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего».

Ему казалось, что слова молитвы он произнес мысленно, но они, видимо, вырвались у него вслух. Только сейчас он заметил, что не один. На скамье в тени сидел семинарист — второкурсник Виктор Топоров. Николай уже встречался с ним. Ему нравилось лицо Виктора — с живыми, умными и какими-то очень чистыми глазами, с правильными чертами, немного бледное и худощавое. Нравилась его скромность, некоторая скупость жестов; казалось, что идет она от внутренней собранности, от целеустремленности.

— А может, стоит осуждать то, что достойно осуждения? — неожиданно спросил Виктор. В голосе его прозвучала насмешка.

Нет, слишком смелыми, а потому нехорошими показались Николаю слова Виктора. Вспомнилось евангельское изречение: «Не судите — да не судимы будете». Заспорили. Спорили горячо и страстно.

— И я таким был, как вы... Искал... верил... — говорил Виктор. — А год пробыл здесь — и задыхаюсь... — Он помолчал и вдруг, словно решившись быть до конца откровенным, произнес, чуть приглушив голос: — Уходить хочу.

Николай растерялся. Он стремился в семинарию всей душой, а вот человек год пробыл и рвется отсюда. Может быть, не слушать, встать и уйти?

— А знаете, чем меня пытаются удержать и наставники и товарищи? — В голосе Виктора ясно почувствовалась горечь. — Говорят: где ты без образования больше сумеешь заработать? Вот он, главный довод... А других доводов не слышал... Нам на днях отец Николай Лупьянов рассказывал о пастырском подвиге, а потом так напрямик и заявил: «Будьте счастливы, что готовитесь в священники. Больше вы нигде не заработаете, а ведь у многих из вас и семилетки за плечами нет. С таким-то образованием только в грузчики или полотеры, а вас кормят, поят, одевают. И впереди заработок...»

В здании вспыхнул свет. Николай взглянул на своего собеседника: тот сидел, опустив голову, сдвинув брови.

Виктор тоже с детства слышал рассказы о спасителе, который «на смерть пошел ради людей». Красивые слова о вере, истине, справедливости витали и над ним и связывались с богом. Пяти лет он уже читал евангелие. Это восхищало бабушку и близких, которые не скупились на похвалы. Вырос Виктор в убеждении, что стоит на единственно правильной дороге, а заблуждаются все остальные.

Он окончил школу, поступил в институт. Вот тут-то, в присутствии всего курса, он однажды поднялся и заявил: «Бог есть». Товарищи, для которых казалась чуждой и непонятной всякая мысль о боге, были ошеломлены, невольно встретили это заявление криками и смехом.

Преподаватель остановил шум:

«Одного утверждения мало, Топоров, — сказал он, — нужны доказательства. Приведите их, и разберемся вместе. Я вам докажу их несостоятельность».

Но Виктор счел спор бесполезным: зачем доказывать, если он верит. Он даже не слушал того, что говорил преподаватель, и очень удивился, когда к нему на перемене подошел товарищ и спросил: «Ну, теперь тебе ясно?»

Нет, слова преподавателя ничего не доказали Виктору, он просто не думал над ними. А жизнь осложнилась. По коридору бежали две студентки, остановились, одна толкнула другую: «Это Топоров, тот самый». Они фыркнули ему прямо в лицо.

Лучший товарищ укорял его:

«Ты что, Витька, нормальный или нет? По небу реактивные самолеты летают, космические корабли, — ну, где тут твоему богу удержаться? А чего он все так неразумно создал? Одни с голоду умирают, другие от жиру лопаются. Войны всякие...

Микробы, Капиталисты. Создатель называется! Все за ним переделывать приходится. Человек — вот создатель! Станем мы с тобой агрономами — и получим власть над землей. Тысячи лет люди разным богам молились, а от молитв этих земля ни единого колоса лишнего не принесла, мы же без молитвы какие урожай собираем!»

Он принес ему Барбюса, прочитал страницу, где летчик, поднявшись в небо, видит сверху две враждебные армии перед сражением. В каждой из них идет богослужение, блестя на солнце золотые одежды духовенства, молятся солдаты, летят к небу песнопения... Летят к одному и тому же богу с просьбой об одном и том же — «о победе над супротивным», которую бог должен даровать тем и другим. Завтра, а может быть, через несколько минут заговорят пушки и прольется кровь людей, на разных языках молящихся о победе одному и тому же богу.

Топоров уходил от споров. На него наступали со всех сторон, горячо желая помочь, не боясь глубоко обидеть.

Виктор увидел, что он один против всех, почувствовал себя бесконечно одиноким. Неужели все неправы, а прав только он? Он один? Люди, которые много знали, которых он уважал, спорили с ним, их слова тревожили его, а он старался гнать их, затыкая уши, замыкаясь в себе. Становилось страшно: неужели он ошибся? В голову невольно пришла мысль о смерти. Лучше умереть, чем жить отступником. Боясь потерять веру, стал чаще бывать в церкви. Он слышал о семинарии и решил, что единственный выход сохранить и укрепить свою веру — пойти туда.

Виктор пришел к священнику за рекомендацией.

«Вы не из газеты?» — осторожно осведомился тот.

Чем горячее говорил Виктор о своем желании, тем сдержаннее становился батюшка, недоверчиво поглядывая на юношу из-под седых бровей бесцветными настороженными глазами.

— Вы знаете, — прервал свой рассказ Виктор, обращаясь к Николаю, — мне показалось, старик сам не допускал мысли, что в наше время молодой человек может верить в бога.

Священник посоветовался с благочинным, и рекомендацию Виктору все же дали. Ее надо было заверить. Виктор поехал к митрополиту Ростовскому. Долго пришлось ожидать в приемной, среди духовенства и монашек. Наконец открылась дверь, все согнулись в раболепном поклоне. «Ручку, ручку!» — шепчут ему, но Виктору и в голову не приходит, что он обязан поцеловать митрополичью руку.



«Ну что ж, хоть так поздороваемся», — насмешливо говорит митрополит, пожимая протянутую Виктором руку.

— А владыке Антонию вы руку целовали? — перебил Николай, думая о своем.

— Ну, целовал, — неохотно ответил Виктор, — только не по душе мне это... Вот Юрка Мигаев, тот только и делает, что у него руку лижет.

— Любит владыка Юрия?

— Наушник, подлиза — вот и любит, — зло ответил Виктор.

— Зачем вы так? — огорчился Николай.

Ему стал неприятен Виктор, так резко и зло говоривший о Мигаеве, наверное, завидует тому, что владыка приблизил Юрия. Но разговор обрывать все-таки не хотелось.

— А отец ректор никому не дает руку целовать, — с удовольствием вспомнил Николай.

— Не дает, — коротко ответил Виктор и засмеялся. — А почему? Думаете, унижить человека боится? Нет, он просто хитрый, он считает: на что угодно надо идти, любую поблажку дать, вот, дескать, какой я современный. Его одно только заботит: лишь бы из семинарии не утекли. Вот и старается показать, что можно быть на уровне сегодняшнего дня, оставаясь священником: обходиться без целования руки, ходить в кино.

— Неправду вы говорите об отце ректоре! — вспыхнул Николай, еще больше внутренне отстраняясь от Виктора.

Виктор слегка пожал плечами, не то соглашаясь, не то не желая спорить, и продолжал свой рассказ.

Долго беседовал с ним митрополит Ростовский на самые различные темы. Зашла речь о Толстом. Виктор не смог удержать свою обиду: гениальный писатель, знаток человеческой души, думал о людях, об их чистоте, а от церкви заслужил проклятие.

«Церковь всегда права, — сухо, наставительно отчеканил митрополит. — Вы одиннадцать лет, молодой человек, учились, а я тридцать шесть. Может, лучше, если вы не спорить со мной будете, а слушать меня? Церковь на послушании незыблемо стоит».

Рекомендацию Виктору он подтвердил, но посомневался, неожиданно перейдя на «ты».

«Гордый ты, не ужиться тебе в семинарии».

«Владыка, я верю».

«Думаешь много. Вере разум не нужен. Вера и без него крепка. Разум ее устои расшатывает».

Инспектор семинарии Дмитрий Петрович Озицкий еще не-

доверчивее встретил юношу; видно, и ему странным показалось, что человек решил из института перейти в семинарию.

«Скажите, вы не болели воспалением коры головного мозга?» — спросил он задумчиво, поглаживая лысину.

— Вы поймите, Николай, — взволнованно закончил рассказ Виктор, — трое столпов церкви не поверили мне: священник, митрополит, инспектор семинарии. Им всем показалось противоестественным, что человек, не связанный с церковью, не неудачник, а просто верующий человек пришел сюда... Бросил институт и пришел. Тут был один семинарист, он прямо сказал, что семинария — для полубольных фанатиков да для тех, кому все равно, богу ли молиться, черту ли, только бы денег побольше. Ну, а тот, кто честно верит, кто ищет правду, рано или поздно уходит отсюда, становится атеистом...

Эти слова больно задели Николая. Почувствовал — надо ответить, и немедленно, но мысли не отливались в законченную фразу. Заговорил сбивчиво, путано:

— Вы не должны так думать! И потом, неправда... Я не фанатик. И ничего мне не надо. Никаких денег. Мне стыдно, когда я слышу про это. И я верю. Понимаете, верю. Но атеистом?.. Нет, не стану я атеистом. Я людям хочу служить, в горе, беде их утешать.

Виктор пристально смотрел на него, и под этим спокойным, внимательным взглядом, в котором сквозила не то грусть, не то жалость, Николай смешался и умолк.

— Изучая писание, слушая наставников, глядя на других семинаристов, — взволнованно продолжал Виктор, — я многое понял. Мысли, от которых бежал я, уйдя из института, настигают меня здесь с новой силой. Там они казались враждебной мне неправдой, здесь они встают передо мной как неопровержимая правда. Мне говорили там, что религия — ложь, лицемерие, ханжество. Я не поверил. Пришел сюда, а здесь действительно процветают они, и только они! Ложь, лицемерие, фанатизм, унижение человеческого достоинства, подхалимство... И все это прикрито именем бога. Вот в чем главное. Именем бога мерзость прикрыта... вы это понимаете?.. Значит, дозволяет?

Николаю стало страшно. Он вскочил.

— Я не хочу вас слушать! Не хочу! — почти закричал он. Не оглядываясь, пошел прочь от Топорова.

## ИЗБРАННИКИ БОЖЬИ

**О**тдаваясь целиком учебе, горячо молясь в часы церковных служб, Николай не мог отделаться от беспокойства, зарожденного в нем словами Виктора. Ему хотелось опровергнуть их, он был уверен, что опровергнет. Стоит только внимательно посмотреть вокруг — и он увидит людей красивой души, глубоко верующих в бога. Тогда он придет к Виктору и скажет: «Ты неправ. Вот они, будущие пастыри, умные, честные, богобоязненные. Недобрые силы смутили твою душу, вот и не сумел ты разглядеть их». Топоров казался ему больным, хотелось помочь, протянуть руку, а для этого нужно найти хорошее, только оно излечит смятенную душу Виктора.

Верит же искренне Нагода. Но великим постом что-то странное стало твориться с ним. Стал заговариваться, даже на переменах шептал молитвы, ходил по семинарии и просил прощения у каждого встречного, словно для него все еще продолжалось прощенное воскресенье, когда виноват не виноват, а кланяйся каждому и проси прощения за вольные и невольные прегрешения, чтобы услышать в ответ: «Бог простит, прости и меня грешного». Нагода осунулся, побледнел, еще резче стали глубокие складки на щеках, возбужденно блестели глаза, странно искривился рот. За всенощной и обедней, привлекая внимание молящихся, он по несколько раз обходил церковь, прикладываясь к каждой иконе, то и дело бросался к владыке целовать ручку, словно какая-то сила гнала его делать одно и то же. Владыка не выдержал: «Гоните его отсюда в шею!»

К этому времени Николай уже узнал, что такие выражения в устах владыки не редкость: попробуй семинарист ошибиться при чтении тропаря или псалма — и тут же в алтаре владыка гневно бросит ему ругательство: «болван», «осел», «остолоп», а другой раз и покрепче.

Распоряжение владыки не уменьшило религиозного восторга Нагоды. Снова и снова он обходил церковь, усердно молясь, полными слез глазами смотрел на иконы, метал поклоны. Лечиться бы ему вовремя, а в семинарии разжигали его религиозный восторг и довели до беды. Врачи определили шизофрению, и Нагоду отправили к родным.

Фанатичность Иголенко скоро стала казаться Николаю не то напускной, не то ненормальной.

Однажды Иголенко сел, как любил садиться, в передний

угол под образа, воображая себя вероучителем, и принялся обличать пороки. Доставалось от него тем, кто слушал радио и читал газеты.

— Сатанинское дело! — определял Иголенко.

— Нет, нам все-таки надо знать, что делается на свете, — возразил Николай, — кино тоже многому научить может. Вы вот не смотрели...

Но Иголенко и кончить ему не дал:

— Сатанинское дело, — пробубнил он, отмахнувшись. — Всякое кино, радио на погибель человеку лукавый подсунул.

С удивлением узнал Николай, что Иголенко в кино не ходил с самого детства и имеет о нем очень смутное представление.

Толстого и Гоголя он знал только понаслышке, а из всей духовной литературы остановил свой выбор на «Житиях святых». С интересом и благоговением читал рассказы о беспримерных чудесах, об отроках, воскресших через сотни лет, о святом Тихоне, за ночь слетавшем на черте в Иерусалим. «Жития святых» включали такие невероятные рассказы, что семинарские наставники, далеко не щепетильные в вопросах правдивости и соответствия истине, стыдливо умалчивали о них. Один из преподавателей как-то в беседе с семинаристами прямо назвал «Жития» благочестивым бредом полусумасшедших. Но Иголенко принимал каждую сказку на веру и восторженно читал, как, сидя в котле с кипящей смолой, святой распевал молитвы.

Добылев при ближайшем рассмотрении оказался просто туповатым.

Сидит он на первой парте, чтобы быть на глазах у преподавателя, показать ему свое усердие. Он невзрачный, невысокого роста. Его темные прямые волосы, зачесанные назад, словно облизывают голову. На лице часто появляется нелепая ухмылка от уха до уха, и тогда его маленькое лицо становится еще незначительнее. Вряд ли и четыре класса есть у него за плечами, настолько он мало знал. Выходя отвечать, смотрит на преподавателя покорным, туповатым взглядом. Подойдя к столу, сосредоточенно молчит, только смотрит покорно и искачительно, а когда преподаватель, теряя терпение, начинает сам подсказывать, Добылев с поклонами повторяет за ним, иногда только подхватывая последнее слово фразы. Чаше всего он получает двойки, но не ропщет и на укоры сокурсников смиренно отвечает: «Двойка тоже от бога. Зато я тихий. Тут многие шумные да боевые повылетели, а я потихоньку и окончу семинарию».

А Павел Гурин? Как-то после всенощной Николай увидел,

как три старушки окружили его. Никакой благодати и в помысле не было на лице Гурина. Он извлек из кармана пяток костяных крестиков и совал их старушкам. Шел самый беззащитный торг.

— Побойтесь бога, вроде бы и дороговато! — мялись старушки.

— Это вам за кресты заплатить дорого? — возмущался Гурин. — Ну, и ходите без крестов.

— Зачем же без крестов! — огорчились старушки и полезли за деньгами.

Когда они ушли, Павел достал бумажник, аккуратно расправил пятирублевки и вложил туда.

Николай не выдержал.

— Торгуете, значит? — подошел он.

— Приходится, — развел руками Гурин. — Дело прибыльное. На днях за крест для пермского епископа получил тысячу двести рублей. Понравился крест. Он мне еще панагию<sup>1</sup> заказал. Только вот не знаю, как богородицу изобразить. Думаю фотографа попросить переснять с иконки. Пускай техника церкви послужит. Как думаете?

Николай стоял растерянный, но Гу́рин по-своему истолковал его замешательство, окинул его быстрым взглядом.

— Дел хватает, — самодовольно усмехнувшись он. — Хотите я вас в помощники возьму? Неплохо станете зарабатывать.

— Крестами торговать не собираюсь, — отрезал Николай.

— Придется, — спокойно ответил Гу́рин. — Не сейчас, так потом. Не крестами, так другим чем. К хлебцу-то маслица захотите. И ряску не простую, а шерстяную или чесучовую. И подрясник шелковый...

Спокойно, с сознанием своей правоты Гу́рин отошел от Николая, а вечером Николай снова увидел в его руках кость и напильник.

Самой мрачной фигурой среди семинаристов был Нестор Трошкевич, уроженец Западной Украины. Его жизнь могла бы послужить канвой для любого детективного романа.

Еще до войны, в 1940 году, он стал членом националистической молодежной организации. Не просто членом, а занимал должность шефа связи и снабжения. Как и все бандеровцы, Нестор Трошкевич радостно встретил оккупацию фашистскими войсками Станиславской области, считал, что сейчас-то и исполняются националистические мечты о «соборной, независимой, суверенной, самостийной Украине», раскинувшейся

---

<sup>1</sup> Панагия — нагрудный знак православных епископов, носимый на цепочке.

до самого Урала. Добровольно пошел он на службу в немецкую дивизию СС «Галичина». Пошел добровольно, в то время как, спасаясь от вербовщиков, честная украинская молодежь убегала в леса.

Под желто-голубым знаменем принимал Нестор участие в боях против частей Советской Армии. Ни разу не дрогнула у него рука, когда он взводил курок, готовясь стрелять в советских людей. Он гордился своей формой с желто-голубыми нашивками на рукавах и трезубцем на шапке. Но вблизи Брод дивизия СС «Галичина» была перемолота и разбита Советской Армией. Дивизия рассыпалась, превратилась в кучку оборванцев. Уцелевшие эсэсовцы и после разгрома дивизии верно служили своим хозяевам. Они участвовали в подавлении варшавского восстания, были охранниками в гитлеровских концлагерях. В каменоломнях Сан-Георген они забрасывали честных людей камнями, убивали пленных советских солдат, сжигали полуживых людей в крематориях. В какой должности подвизался в это время эсэсовец Нестор Трошкевич, трудно сказать. Об этом ему лучше известно.

Но сейчас, тщательно замаскировав свое прошлое, сменив свое обличье, он укрылся в духовной семинарии и рьяно готовился к тому, чтобы стать пастырем.

Однажды в свободный час, чуть прихрамывая, подошел к Николаю высокий, еще-малознакомый семинарист Желяровский.

— Тебя как звать? — спросил он.

— Николай.

— Хорошее, святое имя... Пойдем прогуляемся, я город тебе покажу.

Николай охотно согласился: город он еще толком не успел осмотреть, да и друзей скорее хотелось завести среди семинаристов. Польстило Николаю и то, что на него, новичка, обратил внимание старшекурсник.

Они пошли по тенистым улицам. Деревья тихо роняли последние листья на асфальт. Николай следил взглядом за медленным полетом листа. Вспомнился дом, крохотный садик, где сейчас мать одна сидит вечерами.

Желяровский, глядя куда-то в сторону, спросил:

— По велению сердца пришел в семинарию или так, деваться некуда?

— Работы кругом много, — даже обиделся Николай, — но я священником хочу стать.

— Похвально... — Голос собеседника стал зкрадчивым. — А может, трудно будет священнический подвиг выдержать? Как ты думаешь?

Что-то навязчивое было в словах Желяровского, уж очень

настойчиво он стремился проникнуть в душу, прямо вползал в нее. Это насторожило Николая, и он промолчал. А Желяровский продолжал расспрашивать. Между невинными вопросами о матери, о прибыльности прихода он вдруг спрашивал:

— А комсомольский билет сдал?

— Так я же не комсомолец.

— Да, верно... А может, ты забыл? Или утаил что-нибудь?

Так тоже бывает... В семье-то у тебя партийные есть?..

Его расспросы все больше настораживали Николая. С чего это совсем малознакомый человек так заинтересовался им?

Неожиданно Желяровский остановился около пивного киоска.

— Выпьем по кружечке? — испытующе предложил он.

— Выпьем, — согласился Николай.

— Хорошо, да мало, — сокрушенно вздохнул Желяровский, ставя стремительно опорожненную кружку на прилавок. — Может, крепче? По сто граммов? А то поллитровочку на двоих купим? Куда ни шло, для первого знакомства. Я угошаю. Идет?

— Водки не пью, — отрезал Николай.

Желяровский все больше становился неприятным, и Николай заспешил обратно в семинарию.

Во дворе они столкнулись с Илюшей Матоковым, невысоким круглолицым юношей в очках.

Увидев Николая с Желяровским, он даже очки сдернул. Столько в этом жесте было открытой досады, что Николай встревожился и подошел к Матокову.

— Значит, проверку проходил? — загорячился Илюша, протирая стекла очков. — Жаль, раньше тебя не предупредил.

— Какую проверку? — не понял Николай.

— Всестороннюю... Мыслей и желаний. И как ты насчет спиртного. Желяровский и у меня выводывал. Первый наушник. Смотри, заковылял докладывать по начальству о твоих настроениях.

Николай покраснел:

— Неправда! Зачем ты неправду говоришь?

— Неправду? — Илюша опять сдернул очки и смотрел на Николая незащищенными и обиженными глазами.

Но убедило Николая не лицо Илюши, не его горячность, а свое собственное ощущение чего-то липкого, скверного, что словно проползло рядом и коснулось души.

— Ты знаешь, — губы у Илюши дрогнули, — нам учительница всегда советовала: «Никогда не говорите друг о друге тайком, не бойтесь сказать товарищу правду в глаза. Только в глаза». А здесь... — Он махнул рукой.

— Что — здесь? — спросил Николай.

Странное чувство владело им. Ему и хотелось, чтобы Илюша сказал все, что знает, и злость на него брала заранее за то, что он скажет.

— Не хочешь ничего замечать! — возмутился Илюша. — А ты у старших воспитанников спроси: они тебе расскажут, что нашего классного наставника Василия Даниловича Панько хлебом не корми, а дай выслушать наушника, да и духовник наш отец Николай Лупьянов этим не брезгует. У них даже подходящее речение есть: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным». Думаешь, владыка не знает, что происходит среди нас? И знаешь, через кого? Через Юрия Мигаева. За это и подачки ему бросают: то сотенную бумажку, то обед с архиерейского стола.

Перед Николаем вновь встало сосредоточенное лицо Юрия в облачении иподьякона, слезы в глазах владыки. Он неприязненно окинул взглядом своего собеседника — его круглое, пышущее здоровьем лицо, близорукие светлые глаза, — резко повернулся:

— Я не верю тебе! Слышишь, не верю!

Скоро пришлось Николаю вспомнить слова Илюши Матоква и убедиться, что здесь правды в глаза не говорили, не боролись за нее. Желая выслужиться, угодить начальникам, с готовностью доносили друг на друга, а «удачливым» даже заведовали.

— Юрий, — говорили Мигаеву, — ты смотри, какое брюшко наел. Прямо аналой, хоть сейчас евангелие клади — удержится. Видно, сладка у владыки стерлядка да икорка.

Мигаев, поджимая тонкие губы большого плоского рта, бросал быстрый, цепкий взгляд на обидчика: отольется ему насмешка! Не поленится Юрий лишний раз показать себя ревнителем, руку поцеловать, принимая от владыки постох, подержать преосвященного под руку, а неся за ним хвост мантии, умело и вовремя закинуть его при поворотах. На узком, длинном лице Юрия в эти минуты выражение самоотрешенности и благолепия. А там и ухо свое преклонит владыка к словам Юрия, вот и не получит его обидчик доходного места. Сам Юрий твердо уверен в будущем: все в руках владыки. Не всегда сладко приходится Юрию в иподьяконах у архиепископа: нередко плакался, вспоминая грубость и обиды. Изысканные яства архиерейской кухни не окупали обид, которые походя наносил самолюбию Юрия архиепископ Антоний, но что поделаешь — надо терпеть. Юрий твердо знал, что, окончив семинарию, получит, кроме благословения владыки, богатый приход...



Зато как обрадовался Николай, когда узнал, что отец ректор не поощряет тайной откровенности, брезгливо хмурится и обрывает незадачливого доносчика!

Как, наверное, тяжело ему видеть таких, как Мигаев, Желяровский! Все пристальнее оглядывался Николай вокруг, хотелось найти настоящих друзей, но воспитанники вставали перед ним словно в двух планах.

Ревностно соблюдал все семинарские правила Алексей Моздоров, но оказалось, что он просто укрылся за стенами семинарии от треволнений жизни.

Однажды вечером в спальне он рассказал, что привело его в семинарию.

Он сидел на кровати и вел свой рассказ вполголоса, перемежая его вздохами, которые, видимо, должны были подчеркнуть его благочестие и вызвать сочувствие слушателей.

— Претерпел гонения. Ох, претерпел!.. Только здесь покой душевный обрел. Окончил школу механизаторов, и захотели меня заслать в Сунжу трактористом. Представляете, братия, каково: целый день на поле, жара, пыль... нормы выполняй... соревнуйся! Не по мне. Уклонился я от суеты. А тут новая пакость — повестку из военкомата принесли. Не по мне. Куда денешься? Спасибо, знакомый батюшка надоумил и рекомендацию дал. В ту же ночь утек я сюда, в обитель, от невзгод земных спасаюсь...

— И сюда повестку прислать могут, — вздохнул кто-то из слушателей.

— Присылали, — усмехнулся Алексей. — Только у меня теперь время было подготовиться...

— Как же ты готовился?

Алексей притворно вздохнул:

— Научили люди добрые. Благословясь, чайку покурил, имя господя поминаючи. Пришел на комиссию, — он развел руками, будто сокрушаясь, — а сердце-то... не годится.

— Сердце испортил? — ахнул Николай и тут же вспомнил, что Алексей и на руках подтягивается и побороться любит.

— Зачем испортил, — опять усмехнулся Алексей, — просто разболтаться заставил на недельку, а сейчас работает. Ничего, не жалуюсь. Службу править могу, — он подмигнул, — и выпить от других не отстану.

Больше всего поразила Николая его манера говорить без тени смущения, словно он был уверен, что и слушателям его найдется что порассказать о себе в том же духе.

Николай все пристальнее вглядывался в однокурсников. Нет, далеко не все пришли сюда по велению сердца. Одного не приняли в мореходное училище, работать не хотел, вот и на-

шел себе пристанище. Другой работал на заводе, попался на мелких кражах — укрылся в стенах семинарии от презрения рабочих. Третий просто решил идти по стопам своего отца, сельского батюшки. Николая смущало одно: неужели не видят этого наставники, не видит отец ректор? И однажды он решился поговорить с ним откровенно.

Отец Михаил внимательно выслушал Николая, в ответ заговорил негромко:

— Набор у нас ежегодный, Бахарев. Но немного тех, кто в служении церкви видит цель своей жизни. Вот и надеемся, что за четыре года в обстановке семинарий воспитаем служителей божьих. Привьется дикая маслина — благо будет, а нет — и на то божья воля.

Николаю показалось, что тень легла на красивое лицо ректора. И все-таки он считал, что надо защищать свою точку зрения.

— Даже воруют у нас, — с горечью произнес Николай: — у одного пропал шерстяной шарф, у другого — шляпа. Но ведь не стали искать, кто виноват. Просто духовник наш отец Николай напомнил восьмую заповедь и советовал: «Бежать греховных мыслей, не осквернять себя богопротивными деяниями».

— Знаю, — с душевной болью откликнулся отец ректор, — многое знаю. Но ведь задача ваша, Бахарев, не о тех думать, кто плохи, а о том, как самому хорошим стать.

Николаю стало стыдно. Конечно, зло есть и люди слабы — он много раз слышал это от отца Георгия, слышал и здесь, — но разве можно судить о деле по его исполнителям! Пусть есть еще слабости у многих семинаристов, но не в них же дело. Дело в самой вере. Прав отец ректор, надо самому стать таким, чтобы никто упрека не мог бросить.

И не осуждать! Не осуждать брата своего. А помогать ему посылно.

Но были в семинарии и такие, к которым тянуло. Илюша Матоков, Саша Орешин, Володя Остапченко пришли в семинарию с глубокой верой в бога, искали правильного пути в жизни, усердно занимались, стараясь постичь смысл священного писания, с тревогой и болью относились ко всему, что оскорбляло их чувство, стремились к добру и правде.

С ними Николай сближался все больше, разговаривал все откровеннее.

А вот дружба с Виктором Топоровым расстроилась совсем. Не только Николай, боясь речей Виктора, сторонился его, — сам Топоров становился все более замкнутым. Он все время о чем-то думал, никого не посвящая в свои мысли.

Однажды ярким солнечным днем, когда Николай и Илюша Матоков в перерыв между занятиями выскочили в садик, к ним подошел Топоров. Подошел какой-то особенно прямой, строгий, с напряженным лицом и решительно сказал:

— Прощайте! Ухожу.

— Из семинарии? — оторопел Илюша.

— Заявление подал «по состоянию здоровья».

— А на самом деле?

— Не могу больше! — очень тихо ответил Виктор.

Илья, волнуясь, сдернул очки и сейчас смотрел на Виктора странно незнакомыми глазами.

— Бежишь, как крыса с тонущего корабля? — горячо упрекнул он. — Кому же попами становиться? Добылеву? Иголенко? Мигаеву? Желяровскому? На них церковь бросаешь?

Лицо Виктора стало бледным. Словно желая успокоить, положил руку на плечо Матокова.

— Ты сам сказал, Илья: «с тонущего корабля». Значит, видишь, что тонет этот корабль. Я думаю, не одни мы понимаем это. Отец ректор тоже, наверное, хорошо знает, что тонет его корабль. И Озицкий не дурак — понимает. Вот и идут на все, подновляют, ремонтируют, манят деньгами и академией, только бы подольше продержался на поверхности их утлый ковчег, были бы на нем матросы, одетые в священнические и дяконские ризы.

— Товарищей бросаешь! — с укором повторил Илья.

— Нет! За собой зову! В жизнь настоящую, где не голову покорно склонять да к владычной руке припадать, а создавать, работать, строить! Илья! Ты же сам мучаешься здесь второй год, сам покоя не находишь. Да разве только ты!

Николай смотрел на Виктора с каким-то странным, двойственным чувством: Виктор был и совершенно чужд и чем-то странно близок ему в эту минуту. Решение его казалось страшным, хотелось удержать его от непоправимого шага.

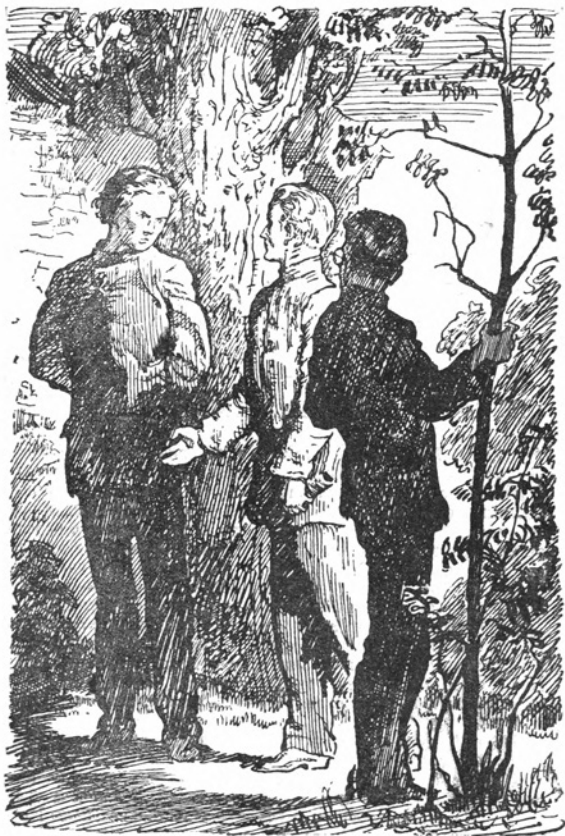
— А бог? — тихо спросил Николай, твердо веря: вот оно, то слово, что остановит Виктора, заставит раскаяться.

Еще бледнее стал Виктор, и, может быть, впервые в одну точку собралось все, что пережил за последние месяцы, передумал, перечувствовал.

— Нет бога! Нету...

Эти слова, как взрыв, ударили в душу Николая. Вот при нем сказаны они, страшные, мгновенно погубившие душу товарища. Сказал их не человек, который никогда не знал бога, а юноша, воспитанный в страхе божием, выросший с его именем на устах.

Виктор пожал руку Илье, повернулся к Николаю. Николай



Николай смотрел на Виктора с каким-то странным, двойственным  
чувством,

ненавидящими глазами посмотрел на него, медленно заложил руки за спину: был у него товарищ Виктор Топоров. Был — и нету! Испугался священнического подвига. Крикнуть бы ему сейчас, что могут быть плохие семинаристы и служители божьи, но бог есть, могучий и милостивый, обличитель и покровитель.

Виктор отступил на шаг. Он не обиделся, он пристально посмотрел на Николая:

— Не хочешь руки дать? Жаль мне тебя. У меня уже за плечами и раздумье и тоска. Все старое в себе сломал. Тебе еще ломать. А тоже ломаешь. И руку мне дашь! Ты только жизни не бойся. Мне вот сейчас легко. Пусть все что угодно впереди. Любой труд, любая беда. Сам с ней справлюсь. Не надо ни молитв, ни милости божией.

— На бога восстал?

— Восстал!

## Глава VI

### СЛОВЕСНАЯ ПАУТИНА

**Н**иколай проснулся, полный ощущения тихого счастья, какое иногда приносят сновиденья, воскрешая давно забытые, но милые картины. Не открывая глаз, силился вспомнить свой сон. И вдруг совершенно явственно увидел рыжий осенний клен, тропку в траве, что шла мимо него к берегу речки, заросшей ивняком. На траве лежали блики света, а до слуха доносился легкий рокот воды на перекате, там, где струи ее так стремительны, где виден каждый камешек обмелевшего за лето дна и обнажены узловатые корни старой ветлы.

Снилось ли еще что-нибудь, кроме этого клена, этой тропки, напряженных и цепких корней? Вероятно, да. Но Николай ничего больше не помнил. Зато их видел так ясно, что, казалось, кожей лица и рук ощущал прохладу, идущую от реки, чувствовал, как побуревшая трава податливо пружинит под ногой.

Полный чувства легкости, внутренней свободы, Николай приоткрыл глаза.

Утро было хмурое и серое. Низкие облака нависли над кровлями домов, готовые пролиться дождем. В дальнем углу комнаты, стоя на коленях, истово и деловито крестился Иголенко, плотно прижимая пальцы ко лбу, груди, плечам. Губы его шептали молитву, а глаза неотрывно смотрели на образок богоматери, привязанный голубой лентой к облезлой спинке

кровати. Взлохмаченный Огрызкин спустил босые ноги на пол, грязноватая простыня соскользнула с постели, он даже не поднял ее. Глядел прямо перед собой мутными с похмелья глазами. Торопливо обмахнулся крестным знамением Добылев и старательно занялся прической. Воровато оглянувшись, Желяровский смял и сунул в карман окурок папироски, выкуренной ночью, и сдул с тумбочки обличающий его пепел. Кто-то искал свое полотенце, и даже легкая перебранка возникла по этому поводу между соседями.

Николай крепко зажмурил глаза. Ему совсем не хотелось вставать, начинать обычный день. И о семинарских делах думать не хотелось. Осенний клен, виденный во сне, звал его мысли в детство, в раннюю юность, он напоминал о доме, о школе. Вспомнились Нина Сергеевна, старый учитель математики. Кажется, совсем недавно вот в такой же осенний день Николай отвечал урок.

Полубернувшись к доске, математик любовно и радостно следил за тем, как уверенно и красиво ведет Николай доказательство трудной теоремы.

«У тебя, Бахарев, светлая голова», — одобрительно сказал он, ставя отметку.

А Петя, успевший с первой парты заглянуть в журнал, шепнул вслед Николаю: «Пятерка».

Закрыв журнал, преподаватель задумчиво и нерешительно добавил:

«Вот бы тебе, Бахарев, математику полюбить. Только ведь не любишь?»

Что мог ответить ему Николай? Логика и стройность математических рассуждений привлекали его. Занятым казалось своими руками сделать прибор, увидеть, что физический закон может найти свое выражение в рычаге и насосе. Для кабинета физики он построил модель сегнерова колеса, недели две усиленно работал в кружке «Умелые руки», а потом исчез.

Старик учитель, сетуя на охлаждение ученика к своим предметам, не подозревал, что отец Георгий ласково сказал Николаю:

«Не трать напрасно времени, Николушка, — одна только наука истинная: наука о боге, богопознание, а оно зиждется на вере. Так нечего тебе этими колесами и шестеренками заниматься...»

Только одна наука истинная? Богопознание?..

Но где оно?

Хочешь не хочешь, а мысли возвращаются к тому, что окружает сегодня. Пора вставать, отправляться на лекции, потом найти тихий угол и с головой уйти в зубрежку.



С утра до вечера месяцы и годы надо было зубрить, зубрить, зубрить... Каждый день заучивать десятки страниц, сотни имен и текстов. Осыпались листья, падал первый снег, ложилась зима, сверкающая белым убранством, пробивалась первая травка, ароматным облаком распускался сад, а семинаристы сидели, склонившись над книгами, листали пожелтевшие от времени страницы огромных миней с красными буквица-

ми абзацев, заучивали псалмы и тропари, евангельские и библейские стихи и целые главы.

Мир взволнованно следил за жизнью станции «Северный полюс», огромные очереди стояли на выставку картин Дрезденской галереи, от умного и чуткого человека, писателя и солдата, страна узнала о подвигах героев Брестской крепости. Люди готовились к полету в космос, а Николай Бахарев учил родословную Иисуса: «Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова...»

На первый взгляд кажется, что учить эту родословную необходимо. Ветхий завет предсказывал появление спасителя и заверял, что спаситель должен происходить из рода Давидова. С этой точки зрения в Новом завете важно найти подтверждение ветхозаветному пророчеству и проследить родословную Иисуса. Но беда в том, что прослеживается не родословная Христа, а родословная Иосифа, который никогда не был отцом Христа и не имел к его рождению никакого отношения. В чем же тогда подтверждение пророчества? Николай невольно задумывался. Да и сама эта родословная в разных евангелиях представала в несхожих вариантах. В Евангелии от Матфея от Авраама до Иисуса прошло сорок два поколения, а в Евангелии от Луки указывается пятьдесят шесть поколений. Оба евангелия написаны «по внушению святого духа», или, как здесь говорят, «богодухновенны», значит, в обоих должна содержаться истина.

Выходит, истинны обе цифры. Но это невозможно. С двумя правдами разум не может мириться. Как же быть? Еще более тревожило Николая другое: имена предков Иосифа тоже оказываются совершенно различными в обоих евангелиях. Зна-

чит, снова ложь в одном из евангелий. Но это святое писание, как же может оно быть ложным? Но что тогда? Тогда опять налицо две правды, хотя правда должна быть только одна. А может быть... Николаю становилось страшно... может быть, в обоих случаях нет правды? Эта мысль еще больше пугала его. Нет, нет! Только не это! Великую правду содержит каждая буква святого писания, убеждал себя он. И снова обступали сомнения: правда едина, а перед ним две разные правды, и каждая из них исключает другую, и каждая является правдой, потому что «евангелия написаны по внушению святого духа».

Понять все это трудно, невозможно. Вчера Николай попытался найти ответ у своего духовника, попытался просто изложить ему все, что накопилось в душе.

— Смирный гордый разум: им не постичь слова божьего! — сердито сверкнул глубоко запавшими, недобрыми глазами духовник. — Молитвой гони от себя вопросы и сомнения.

Верь и не мудрствуй!

Оставалось одно: зубрить. Зубрить и не вдумываться.

Томительная зубрежка убивала всякую мысль, выматывала все силы. Казалось, что мысль бьется в словесной паутине и не может вырваться из нее.

Часто болела голова. От тупой боли в висках темнело в глазах. Непосильным мертвым грузом давили на мозг бесконечные исключения греческой грамматики. Литургика, догматическое богословие, нравственное богословие, сравнительное богословие, история раскола — все это требовало работы памяти, утомительной, напряженной. Точно и дословно надо заучивать наизусть целые страницы, даже не помышляя о том, чтобы добраться до их смысла...

Но следовало подыматься, чтобы не опоздать к утренней молитве.

При мысли о той порции богословских наук, которую предстоит проглотить сегодня, Николай невольно передернул плечами, словно прилаживаясь поднять непосильную тяжесть. Все дальше в небытие уходили клен, тропка, речной пережат из далеких дней детства, все неумолимее надвигалась на него сегодняшняя семинарская действительность.

Вплотную она подступила, когда бесшумно растворилась дверь спальни и на пороге появился Панько.

Вот кого ненавидели семинаристы!

Удивительно неслышной была походка молодого, только что окончившего духовную академию преподавателя, негромким голос, неторопливыми и благостными жесты. Прочно при-



стала к нему кличка «Иезуит». Он делал вид, что ничто мирское не волнует его, что всеми помышлениями и всем сердцем предан богу. И все-таки что-то злобное таилось в его зрачках, когда он оглядывал семинаристов, намечая очередную жертву.

И сегодня, как обычно, в руках у Панько — черная книжечка. Беда тому, чьи фамилии впишет он на ее страницы.

Панько поздоровался, прошел между кроватями, благосклонно кивнул Добылеву и Мигаеву, остановился около Огрызкина, укоризненно покачав головой, смиренно наклонился, поднял простыню, все еще валявшуюся на полу.

— Орешин, — прозвучал его негромкий голос, — зайдите сегодня к инспектору для беседы.

Семинаристы притихли, каждый невольно ожидал услышать и свою фамилию, вспоминая вины и провинности, о каких мог знать или догадываться Панько. Впрочем, он мог знать о любой, для этого у него было достаточно средств: мог он с чистым сердцем и подслушать и подсмотреть, мог и побеседовать «по душам» с одним из семинарских доносчиков, мог и чужое письмо распечатать.

На этот раз больше фамилий не последовало, и Панько, чуть задержав на каждом семинаристе взгляд, словно обещая, что и до него доберется, неслышно вышел из спальни.

— В чем ты провинился? — спросил Николай у Орешина.

Саша, взбывая подушку, несколько раз энергично ткнул в нее кулаком.

— А я знаю? — буркнул он.

— Не миновать тебе без стипендии остаться, — посочувствовал Илья.

Его фамилия тоже не раз красовалась в черной книжечке у Панько, бывал Матов и «на беседах» у инспектора Озицкого, которого семинаристы называли между собой нелестным и странным прозвищем «Митька Камбала».

Результатом этих душеспасительных «бесед» нередко бывало лишение стипендии на месяц, а то и больше.

Николай знал: никто не заступится за Орешина. Здесь нет ни учкомов, ни профкомов, не бывает и классных собраний. Каждый сам по себе перед лицом господ бога и инспектора Дмитрия Петровича Озицкого.

Сашу беспокоила предстоящая встреча с Озицким. Гладко выбритый, с лысиной во всю голову, немногословный, инспектор семинарии мог самое незначительное замечание сделать провинившемуся очень веско, с каким-то внутренним презрением и превосходством. Семинаристы трепетали перед ним, зная, что прощать и забывать не в его характере. Живет он одиноко и в свою личную жизнь никого не пускает. Говорят,

что он мечтает быть епископом, хотя не имеет священнического сана. Внешне он вполне мирской и светский человек, только губы излишне плотно сжаты да глаза излишне холодны и внимательны. Нет, совсем не хотелось Саше встретиться с инспектором.

Сердито перебросив полотенце через плечо, Орешин направился умываться.

— Иезуит ко мне в тумбочку слазил, не иначе. Письмо я там оставил неоконченное. Писал, как Зиновий Ефимович семинаристов постам учит, а сам котлеты жрет. То-то я вчера пришел и показалось мне, что в тумбочке шарили, — объяснил Саша.

— Неужели Панько в тумбочку твою залезал? — не поверил Николай.

— Ты, Никола, простота! Иезуит на все способен. — Орешин лил на себя холодную воду, но и она, казалось, не остужала его обиды. — Ну, да я в долгу не останусь. Не один я на Панько зол. Устроим мы ему штуку!

Николай встревожился:

— Чего ты хочешь?

— Проучить Панько хочу. Что ты на меня так уставился? Ударь, дескать, в левую щеку, а я подставляю правую — так учит Христос! Это ты хочешь сказать?

— Мсть — не христианское чувство, — нерешительно напомнил Николай.

— Посмотрел бы я, как ты правую щеку подставил! Нет, мстить я ему не буду, а вот подслушивать отучу!

К умывальнику торопливо подошел Желяровский, и Саша умолк.

С неприятным осадком в душе Николай занял в классе свое место у окна.

Вошел отец ректор в черной рясе. Обычно она висела в учительской. Отец ректор надевал ее только перед лекциями или церковной службой. «Спецовка» — назвал ее кто-то из воспитанников.

Началась лекция по Ветхому завету.

Неторопливо лился рассказ о том, как Моисей услышал голос божий из горящего куста терновника. Голос этот обещал вывести евреев из земли египетской...

За окном луч солнца пробил толщу облаков, в неярком осеннем свете по-особому милыми стояли поредевшие тополя, но не стало легче и спокойнее на душе у Николая. Интересно, что думает сам отец ректор о казнях египетских, когда господь обрушивал на египтян самые страшные наказания?

А отец ректор, умный, начитанный, рассказывает семна-

ристам, как бог, разгневавшись на египтян, обращает воду в кровь, покрывает жабами землю египетскую, напускает «песьих мух», насылает моровую язву, град, убивает всех первенцев египетских — «от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное от скота».

Все эти ужасы, как объясняет отец ректор, для того, чтобы фараон отпустил возлюбленный богом народ из Египта, хотя было гораздо проще уморить одного фараона, чем убить тысячи безвинных людей. Всесильный бог мог сделать это одним словом, но он предпочел изобретать новые казни, с удовольствием наблюдая, как вымирает в реках ничем не повинная рыба, как «воскишела река жабами», как «вошли они в дом фараона, и народа его, в печи и квашни», как нарывы покрыли тела людей и скота. Бог любит полакомиться саранчи, что уничтожает посевы, с удовольствием слушает вопль великий: плачут отцы и матери, ибо гибнет каждый первенец.

Жесты у отца Михаила плавные и даже какие-то изысканные. Длинными, красивыми пальцами он то и дело приглаживает волнистые волосы, поправляет очки в золотой оправе. Иногда едва заметная улыбка, как будто даже застенчивая, тронет его губы и сразу спрячется под тщательно подстриженными усами.

Отец ректор спокойно перечисляет события книги Исход, и Николаю становится неловко за него: вероятно, ему совсем не легко сейчас говорить о жестокости божией. Ведь он умный, честный человек, неужели у него не вырвется ни одного слова, которое показало бы его отношение к жестокому библейскому рассказу! Но и тени смущения нет на лице ректора. Он продолжает свой рассказ. Оказывается, не с пустыми руками выходят любимцы бога из земли египетской: уносят, опять-таки по наущению божьему, серебряные и золотые вещи, одежду, взятую у соседей, угоняют скот, а когда египтяне бросаются в погоню, бог топит их в море. Теперь бы и поверить чудесно спасенным людям величию божьему, но выходит, что бог зря старался: чудесно спасенный народ немедленно воздвигает золотого тельца и начинает поклоняться ему, а не богу.

Неужели отец ректор сам не видит, каким мстительным и жестоким предстает на страницах библии «милостивый» бог?

И вдруг, как из тумана, vyplывают в памяти слова Нины Сергеевны: «Не надо удивляться жестокости и коварству библейского бога — его придумали люди, для которых в то время эта жестокость не казалась ужасной. Другому надо удивляться, — говорила она, — тому, что религия пронесла бога,

придуманного рабовладельческими племенами, до наших дней».

Но зачем он вспоминает слова Нины Сергеевны? Почему возникает в нем эта ненужная раздвоенность? Усилием воли он снова заставляет себя слушать отца ректора. Надо сосредоточиться. Надо. Может, хоть что-то останется в голове и тогда меньше времени придется затратить на заучивание. О чем говорит ректор? Да... определяет период, охваченный книгой Исход.

— Призвание Авраама совершилось на семьдесят пятом году жизни патриарха. — Ректор оглядывает класс. — На сотом году, то есть через двадцать пять лет, у него родился Исаак. У Исаака через шестьдесят лет родился Иаков. У Иакова на девяносто первом году жизни родился Иосиф.

Отец ректор подходит к доске. В своей черной рясе он кажется еще выше и стройнее. Рукава рясы крыльями черной птицы взмывают вверх. Стучит мел.

На доске появляется ряд цифр:  $25 + 60 + 91 + 110$ .

Ректор довольным взглядом осматривает семинаристов.

«Почему он торжествует?» — думает Николай. Не являются ли эти вычисления наивной попыткой подкрепить рассказ цифрой, добиться его достоверности? Ведь сам отец ректор говорил, что библейское время надо понимать условно. Когда читали о сотворении мира, он сам сказал это, прекрасно зная, что семинаристы не могут верить в возникновение мира за шесть дней:

«Первый день творения мог длиться миллионы лет, ибо для бога нет времени...»

А чуть позже, говоря о летах патриарха Ноя, дожившего, по преданиям той же самой книги Бытия, до 950 лет, отец ректор конфузливо заявил:

«Пусть не смущает ваших сердец эта цифра. Библейские годы были гораздо короче наших».

«Значит, день длиннее, а год короче? — думает Николай. — Странная арифметика!»

Зачем же сегодня отец ректор так старательно ведет расчеты, если день — не день, год — не год, если все условно и ничего нельзя понимать буквально?

С ужасом чувствует Николай, что глаза у него начинают слипаться. Он напрягает волю и сбрасывает усыпляющую дремоту. Чтобы не спать, начинает думать о странствиях патриархов, которыми заканчивалась книга Бытия. Но и они повергают в смущение.

Авраам — любимец бога, по сообщению Библии, — шел на весьма неблагоприятные поступки.

«Вот я знаю, — сказал Авраам жене, — ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя и дабы жива была душа моя через тебя».

Жене его Сарре во время пребывания в Египте исполнилось шестьдесят восемь лет, — так говорит библия.

Николай видел, что у некоторых семинаристов при чтении этого текста широко раскрылись глаза: оказывается, прославленный патриарх, любимец бога, попросту торговал своей красавицей женой, он готов был отдать ее египтянам, только бы сохранить свою жизнь и земное благополучие. Почти семидесятилетнюю Сарру увидели «вельможи фараоновы и похвалили фараону, и взята она была в дом фараонов. А Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошади, и верблюды...»

Разгневанный господь, по библейскому преданию, поражает не Авраама, который продал свою жену, а фараона, который купил ее.

И вторично продает патриарх свою жену:

«И сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра моя. И послал Авимелехт, царь Герарский, и взял Сарру».

Со смущением сердца читал Николай, что и вторая торговая операция принесла Аврааму тысячу сиклей серебра, много мелкого и крупного скота, рабов и рабынь.

А разве не патриарх Авраам выгнал в пустыню служанку Агарь, ожидавшую от него сына? Разве не он хотел заколоть первенца своего Исаака и принести его в жертву богу?

Исаак шел по стопам отца: представил в Гераре свою жену Ревекку как сестру свою, «потому что она прекрасна видом». Иаков купил у голодного, усталого брата Исава первородство за чечевичную похлебку, обманув отца на смертном одре. Сыновья Иакова убивали и грабили, уводили в рабство женщин и детей...

А бог благословляет именно Авраама, Исаака и Иакова, именно их объявляет праведниками!

И то, что читает Николай в библии, приходит в резкое противоречие с тем, чему учила его мать. Не лги, не зарься на чужое, будь честным и чистым! Нет, не знала она, простая труженица, сколько скопилось зла, предательства, крови на страницах книги, лежащей в основе христианской религии и описывающей деяния бога, которому в чистоте душевной приносила она свои молитвы...

Трудно понять все это... не хочется думать...

На следующей лекции Николай Федорович Троевольский.

преподаватель Нового завета, старательно, но безуспешно растолковывал семинаристам отношения бога-отца, бога-сына и бога — духа святого.

Николай Федорович говорит, что бог един в трех лицах, что божественная троица единосущна и нераздельна. Говорит и говорит, словно стремясь количеством слов прибавить им значимость и вес.

А впереди еще толкование символа веры, где снова в разных сочетаниях сталкиваются лица святой троицы. Можно повторить слова «верую во единого господа Иисуса Христа, сына божия, едиnorodного, иже от отца рожденного прежде всех век, света от света, бога истинна от бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна отцу, им же вся быша», но понять их, чем дальше размышляет Николай, тем становится труднее и труднее. Никак не разобрать, кто от кого исходит, кто кому единосущен. Еще труднее понять нераздельность. Ну где, например, был и бог-сын и бог—дух святой, когда бог-отец творил землю? О них даже не упоминает книга Бытия. Николай видел, что и для преподавателей все эти места неясны и спорны; они, сомневаясь сами, старались призвать к безусловной вере: «Счастлив и блажен тот, кто верит и не рассуждает», или говорили магические слова: «Тайна сия велика есть».

Но поднимается рука, встает воспитанник Федорович.

Федорович учился только на пятерки. Он верил и, веруя, хотел глубже понять смысл священного писания. Это толкало его на вопросы. Не раз уже бывало, что в день стипендии около фамилии Федоровича стоял выразительный прочерк. Удаляя по карману, хотели научить его быть более сдержанным. Федорович не раз обещал себе это, но пытливость брала верх.

Так случилось и сегодня.

— Как может быть бог в трех лицах? — допытывался он.

Преподаватель, с тоской глядя на надоевшего своими вопросами семинариста, попробовал дать объяснение «с научной точки зрения».

— Обратимся к примеру, — сказал он. — Вот солнце. Оно предстает перед нами в трех лицах: оно светит, дает тепло, имеет массу.

— Но есть у солнца и другие признаки, — ответил Федорович. — Оно движется вокруг оси и по орбите... Этак бога и десятилицым можно назвать!

Звонок оборвал разгоревшийся спор. Станный это был спор. Одна из сторон ничего в нем не утверждала, а только спрашивала, но каждый вопрос повергал преподавателя в величайшее смущение и находил отзвук в сердцах слушателей...

На перемене Николай присел во дворе около клумбы с осенними, уже отцветающими дубками. Обрывки негромких фраз, доносившихся до него, показывали, что воспитанники возбуждены, хотя и сдерживаются. Панько готов был разорваться на части, только бы услышать, о чем говорят в каждом углу двора и коридора, в каждом классе. Он умудрялся появляться то здесь, то там, но воспитанники были готовы к этому и, завидев его, умело уходили от разговора, который мог бы показать их подлинные настроения. Кое-кто делал вид, что искренне возмущается неуместной пытливостью Федоровича. В группе фанатично настроенных семинаристов уже зрело слово «богохульство». Как это посмел Федорович оскорбить святую троицу, назвав единосущного в трех лицах бога десятилицым! Пусть косвенно, но назвал.

Федорович, еще возбужденный спором, подошел к одной из таких групп. Николай видел, как отхлынули от него мгновенно семинаристы, побледнел и закрестился Иголенко, как будто сам сатана предстал перед ним. Даже Желяровский отпрянул от Федоровича. Николай невольно сжал кулаки: ведь из двоих верующим был Федорович, но Желяровский уже отрекся от него на случай, если семинарское начальство резко осудит слова «богохульника».

Николаю захотелось заговорить с Федоровичем сейчас же, вот здесь, на глазах у всех, на глазах у Панько, заговорить о чем угодно, просто чтобы выразить протест, зревший в душе. Он встал, но чья-то рука опустилась ему на плечо. Рядом стоял Матоков.

— Брось, не нужно! — Видно, Илья угадал намерение друга. — Ничего ему не будет! Знают же, какой он религиозный. А вот тебя Панько возьмет на заметку.

Вряд ли Николай послушался бы Илья, но Федорович, видимо поняв, что на этот раз его религиозная любознательность сыграла с ним плохую шутку, быстро скрылся в здании.

— Наверное, ты помнишь, — очень тихо сказал Илья, — немало таких троиц есть у разных народов. Многие религии почитают трех богов: в Египте — Осирис, Гор, Изиды, в Индии — Шива, Вишну и Брахма.

Николаю представилась картинка, виденная в книге: три усатых лица Шивы, три шеи с ожерельями, три короны, сливающиеся вместе и увенчанные четвертой, соединяющей их.

Николаю стало тревожно и неловко, как становилось часто за последнее время. Ничего не ответив Матокову, он отошел. Но эти мысли не уходили.

«Троица нераздельна и единосущна, — подумалось Николаю, — значит, вся троица была на земле в облике Христа? Но ведь тогда получается, что бог-отец не только бога-сына, а себя и святого духа принес в жертву. Нет, нет, не думать! Может быть, правы наставники: надо не думать, а верить. Просто верить... «Верую, потому что абсурдно», — так сказал один из отцов церкви».

Николай даже обрадовался началу следующего урока, хотя обычно терпеть не мог уроков греческого языка, с таким трудом давались путанные и трудные правила, нелегко заучивались слова, но сегодня он с необычным рвением слушал преподавателя.

А Дмитрий Петрович Озицкий упоенно стучал мелом по доске, выписывая падежные окончания, сыпал двойки за малейшую оплошность.

...Острая боль железными обручами сжала голову Николая. Кровь билась в висках, казалось, что голова набухает болью.

## Глава VII

### В СТЕНАХ И ЗА СТЕНАМИ

**К** концу лекций усталый Николай думал только об одном: сейчас обед, а после хоть короткий, но отдых. В дверях столовой столкнулся с изрядно помрачневшим Сашей.

«Что?» — взглядом спросил Николай, поняв, что Орешин уже побывал у инспектора. Разговаривать в трапезной запрещалось. Брови у Саши были сдвинуты, он достаточно выразительно махнул рукой и показал два пальца.

«Значит, на два месяца остался без стипендии», — расшифровал Николай и с неприязнью покосился на Панько, который прохаживался между столами. Он и за обедом не расставался со своей заветной книжечкой, готовый занести туда всякого, кто вздумает отвлекаться от трапезы мирскими разговорами.

Нет, и обед не приносит отдыха! И за обедом головы семинаристов начинают священным писанием.

Даже в окно не поглядишь, а поглядишь, так ничего, кроме клочка неба, не увидишь. Семинарская трапезная находится в полуподвальном этаже, хотя достаточно высокая и просторная. Небольшие окна прямо под потолком, словно в тюрьме.

На сером цементном полу стоят длинные деревянные, ни-



чем не покрытые столы, вокруг них узкие скрипучие скамьи. Голые, чисто выбеленные стены, в углу — икона и бледный огонек лампадки.

Узкими, длинными коридорами ход на кухню и на склады. По ним ползут в трапезную стойкие запахи кислой капусты, жареной трески, постного масла, от которых перехватывает горло.

Тесными рядами сидят семинаристы вокруг обеденных столов. Журчит, усыпляя, голос учиненного чтеца. Исподтишка поглядывает на воспитанников своими рысьими глазками Панько. Чуть поскрипывает скамья, глухо звякают ложки. Об оконное стекло с назойливым жужжанием бьется большая муха.

А голос чтеца все журчит и журчит.

На столах перед воспитанниками уху сменила гречневая каша. А чтец, покончив с сегодняшней порцией евангелия, принялся за церковные новости из «Журнала Московской патриархии» — перемещения, награды, вручение архиепископского жезла новопоставленному епископу, некрологи о мирно почивших для жизни вечной после священнических трудов. Новости эти, ненужные и неинтересные, назойливо, как эта большая муха, бьются в уши. За окном, куда напрасно рвется она, есть небо и солнце.

— «Преосвященный Иов, архиепископ Казанский и Мариинский, посетил храм в селе Азино, совершил там божественную литургию и сказал поучение, — торопливым говорком сообщает чтец, — а преосвященный Поликарп, епископ Кировский и Слободской, служил молебен с акафистом божьей матери-скоропослушнице...»

Николай оглядывает товарищей. Один горопливо и жадно глотает кашу, поглядывая, как бы получить еще порцию, он начисто выскребает почерневшую от времени алюминиевую миску, ему никакого дела нет ни до Иова, ни до скоропослушницы; другой ест еле-еле, с постным видом, прислушиваясь к чтению. Николай знает таких святош — как же, постники! — тарелка у них остается почти нетронутой, но в городе они вознаграждают себя — денег с практики привезли достаточно.

А муха все бьется и бьется о стекло...

Без поспешности вкушается пища телесная, сопровождаемая пищей духовной, но кое-кто из воспитанников украдкой, сохраняя благочестивое выражение лица, поглядывает на часы. После благодарственной молитвы свободное время, но сегодня чуть задержали обед и чтение: надо, чтобы семинаристы не смогли успеть в кино. Идет картина «Красное и черное», и у них могут возникнуть нежелательные параллели при

сравнении своей жизни с жизнью Жюльена Сорреля в иезуитском колледже, где была та же духовная муштровка, то же ханжество, то же лицемерие.

Обед задержали. Может быть, поэтому Николаю и захотелось обязательно попасть в кино. А тут еще Илюша Матов, словно угадал его мысли, когда выходили из столовой, дернул Николая за рукав и вполголоса предложил:

— Пойдем попробуем, может, успеем.

В кино, конечно, опоздали.

— Что ж, пока свободное время, пройдемся по городу, — разочарованно вздохнул Илья.

Выйдя из семинарии, они уже заметили необычное оживление и суету на улицах. Николай сообразил:

— Илюша, ведь через два дня праздник! Смотри, все готовится.

— Только не мы, — невесело ответил Илья.

От этих слов что-то шемящее заползло в душу Николая. Пускай в церковном календаре день 7 ноября выделен жирным шрифтом, все же они теперь, словно посторонние, не принимают никакого участия в приподнятой, оживленной предпраздничной суете.

Укрепляют на зданиях флаги и лозунги. Кумач расцветает, призывно кричит под лучами осеннего солнца. Торопятся хозяйки в магазины, раскупая праздничную снедь. На бульваре хлопочут школьники. Девочки разматывают длинные гирлянды флажков и фонариков; мальчики, оседлав деревья, пристраивают эти гирлянды повыше, и улица пестрит яркими красками. Дворники и садовники убирают опавший лист. Старики, сидящие на скамьях, расставленных по бульвару, дают советы и ребятам и взрослым. Кажется, если бы не их годы — они сами полезли бы на деревья развешивать пестрые флажки.

А солнце, веселое, по-летнему теплое, изо всех сил старается сделать праздник особенно ярким.

— Мы всегда к этому дню украшали школу, наверное, лучше всех в районе, — негромко говорит Илья.

Плохо, когда чувствуешь себя посторонним и даже лишним среди людей.

На Комсомольской горке загремел оркестр.

— Пойдем посмотрим, что там, — предложил Николай.

Около памятника генералу Апанасенко, герою гражданской и Отечественной войн, выстроились шеренги суворовцев. Стройные, подтянутые, в черных парадных мундирах, с алыми погонами, они замерли в строю. Слегка колыхаясь, в руках двух рослых юношей плыл венок. Пышный от огромных

хризантем, вперемешку с яркими астрами, он лег у барельефа прославленного генерала. Грянул Гимн Советского Союза.

Илья и Николай, подчиняясь знакомой с детства мелодии, подтянулись и замерли в стойке «смирно», как и сотни этих юных, жизнерадостных суворовцев. На какой-то миг семинаристы почувствовали себя слившимися мыслями и чувствами со всеми людьми, что собрались здесь, чтобы почтить память полководца. Но смолк оркестр, четко перестроились суворовцы, и под звонкий марш рота за ротой, отбивая шаг, двинулись с площадки. А они остались такими же посторонними, случайными, незванными.

Низко над городом летел самолет, и его гудение сливалось с оживленным шумом улиц. Николаю вдруг вспомнилась большая осенняя муха, что билась о стекло семинарской столовой. Ее жужжание сливалось тогда с голосом учиненного чтеца...

— Пора, — как будто совсем безразлично, сказал Илья. — Завтра Ветхий завет, пойдем подзубрим канонические, учительные, законоположительные...

В семинарии их ждала новость.

— Слышали? — бросился к ним Саша Орешин, — Федоровича исключили. Решили, что он «не соответствует духу семинарии».

Исключили! Николай не верил себе. За что? За то, что хочет думать, понять... Исключить! Исключить за вопросы. Исключить не безбожника, а верующего человека!

Николай не выдержал.

— Отец ректор! — бросился он к двери, заметив высокую, прямую фигуру Радецкого.

Ректор остановился. В глазах его мелькнуло смущение, словно он заранее угадывал по возбужденному виду воспитанника, о чем будет разговор.

— Ведь он верит... Верит... Федорович. За что же? — сбивчиво говорит Николай. — Неужели и вы думаете, что его надо было исключить?

— Решал не один я, — уклончиво произнес ректор. — Дерзок мыслию Федорович.

Николай вспыхнул.

— Федоровича исключили, а такой, как Желяровский, учится и сан получит. Для него деньги да вино... — Николай не кончил.

Наверное, ректор не раз пожалел потом, что с уст его сорвалось откровенное, горькое признание:

— Желяровский не покинет церковь хотя бы потому, что любит деньги.

Ошеломлённый ответом, Николай замер, а высокая фигура ректора уже скрылась за дверью...

«Дерзок мыслию» — эти слова звучали в устах преподавателей суровым осуждением. Большой соблазн крылся в пытливости.

«Не будьте как Фома неверный, — предупреждали наставники. — Это он хотел вложить персты свои в раны господни, дабы убедиться, что перед ним Христос».

«Не думай! Не размышляй!» — приказывали наставники.

Приказ верить без размышлений, словно бич, взвивался над пытливой мыслью. А не думать Николай не мог.

Все больше вставало сомнений, непреодолимых, мучительных, а разговоры с товарищами подливали масла в огонь. Вот и сегодня, вернувшись из города, вместо того чтобы сесть за приготовление уроков, они вчетвером стояли у окна и, глядя на хозяйственную суетню во дворе, рассуждали о том, что волновало, требовало выводов.

— Сколько у наших наставников хлопот с рассказом о сотворении мира! — в раздумье говорил Володя Остапченко. — Ведь это краеугольный камень. Надо, чтобы он не пошатнулся. Лег нелегко. Надо доказать, что мир не возник сам по себе, а создан богом.

— А доказать божественное творение мира не так-то просто, — засмеялся Илюша Матов. — Мы окончили среднюю школу и представление об основах наук получили.

Нет, не слова — смех Илюши покорибл Николай, и он сдержанно сказал:

— Наука не противоречит религии...

— Отец ректор сказал? — насмешливо прищурился Илюша. — Как же получается? Наука доказала, что история Земли насчитывает миллионы лет, а святое писание уверяет, что всего семь с половиной тысяч лет назад никакой Земли и в помине не было. Была только «тьма над бездною и дух божий носился над нею».

— Непонятно, — поддержал его Володя, — что бог делал миллионы лет в этой бездне? С тоски помереть можно! Почему богом вдруг ни с того ни с чего овладела жажда деятельности? Начал он творить без всякого плана, что выйдет! Только сотворив свет, бог увидел, что он хорош, и «назвал свет днем, а тьму — ночью».

Насмешливый тон, которым говорили Володя и Илюша, возмущал Николая. Он искал слова, чтобы возразить, но не успел — Остапченко заговорил уже горячо, взволнованно:

— Как же нет противоречий! Мы знаем о вечности материи, о нескончаемом движении ее, но нас заставляют забыть

все, что мы знаем. Иначе мы не поверим, что растительный мир был создан на Земле в третий день, пока еще не было Солнца. Не поверим, что «по образу и подобию своему» сотворил бог человека, вылепил его из земли, вдунул в него душу, а потом из ребра Адама создал Еву.

— Нет, ты скажи, — вмешался Саша Орешин, заодно поглядывая на Николая, — неандерталец — человек?

— Ну конечно, первобытный...

— А питекантроп?

— Тоже. Еще синантроп есть.

— Ну, а бог-то лепил человека по своему подобию. Так на кого же он сам похож?

— Не грех вам так говорить?! — не выдержал Николай.

— А на грехе-то вся церковь наша стоит, — усмехнулся Володя.

— Нет, не хочу я тебя слушать! — Николай побледнел. — Как это — на грехе? Церковь на правде, на слове божьем стоит.

— Не торопись, — остановил его Володя. — Адам и Ева согрешили, а бог проклял в их лице весь род человеческий, а потом начал спасать его, и церковь ему в этом усиленно помогает.

— А ты проще скажи, — опять перебил Саша: — грех все духовное сословие кормит. Слышал, поди: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься».

— Правильно! Все таинства — крещение, причастие, исповедь, — все они человеческую душу от греха спасают, а чтобы таинство совершить, надо к батюшке обратиться, да не с пустыми руками. Вот и выходит, что грех все духовенство кормит. Чего там от правды-то прятаться! — махнул рукой Володя.

Николай внезапно оглянулся, и вовремя: за его спиной стоял Панько, как всегда подкравшийся неслышно. Только рано его обнаружили, не успел подслушать разговор воспитанников. Затаив злость и разочарование, елевым голосом спросил:

— О чем беседу ведете?

— О священном писании, — быстро нашелся Саша.

— Благое дело, благое, — говорил Панько, а сам недоверчивыми глазками так и впивался в каждого.

Разошлись. Разговор прекратить Панько мог, а думы, что волнуют и мучают, ему не рассеять.

Руководители семинарии видели, что у многих воспитанников беспокойно на душе.

Чтобы примирить явные противоречия, наставникам при-

ходится толковать о «двух смыслах» в писании: буквальном и таинственном. Они стараются задержать внимание воспитанников на таинственном, не поддающемся толкованию. Но и от буквального смысла не уйдешь. Отец ректор во спасение веры заявляет, что библия не расходится с теорией эволюции, тоже говорит о последовательности создания мира.

Николай слушает его и невольно вспоминает недавнее возмущение Саши Орешина.

«Никак не пойму, — говорил Саша: — если бог пустил в ход машину эволюции, зачем он выбрал такой странный способ — миллионы лет заселял землю всякими трилобитами и динозаврами. Уж создавать, так создал бы сразу совершенные организмы».

Отец Симеон Новожилицев тоже любит поговорить с семинаристами о науке.

«Малая наука отдаляет человека от бога, а большая приближает человека к богу», — торжественно возглашал на лекциях отец Симеон.

Из слов его явствовало, что «малой наукой» отец Симеон считает величайшие открытия современности, а «большой» — труды богословов, толкующих Ветхий завет и евангелия.

Говоря о великих ученых Тимирязеве, Мичурине, отец Симеон даже не старается скрыть перед воспитанниками свою неприязнь к ним, считая, что находится в своей семье и может говорить что ему вздумается.

Слова «покорение природы» вызывали в нем приступы самого яростного гнева.

Как-то Николай в его присутствии вспомнил известную со школьных лет формулу Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача».

Отец Симеон вышел из себя.

— Как это — не ждать милостей от природы? От бога? Вот и у Тимирязева такие слова есть: «вступать в борьбу с природой». Не дано это человеку! Не смеет он поднимать на борьбу с творением божьим богохульную руку! Не бороться с природой должен он, а трудиться в поте лица, как заповедал господь.

Николай еще не понимал, почему стремление ученых покорить природу вызывало такую ненависть в священнике, но старшие его товарищи прекрасно видели, что отец Симеон боялся знаний, боялся утверждения человеческого разума, инстинктивно чувствовал, что именно за этим кроется гибель религии.

Зашла как-то речь об опытах над оживлением сердца. Семинаристы прямо задали отцу Симеону вопрос о том, как

связать возвращение человека к жизни после нескольких минут клинической смерти с наличием в нем души. Ведь не может же душа, которая покинула тело «по воле божьей», возвращаться по воле врача.

Попутно упомянули об опытах над собаками.

За них и ухватился отец Симеон, чтобы отвлечь внимание семинаристов от вопроса о душе.

— Собак несчастных умерщвляют, отрезают им лапы! — возмущался он, пытаясь разжалобить своих слушателей. — Какое жестокое варварство!

— Но зато людей спасают! — не сдержавшись, сказал Николай.

— А кому это нужно? — не смутившись, ответил отец Симеон. — Бог сам знает, жить человеку или умереть.

«Ты понимаешь, — говорил после этого Володя Остапченко Николаю, — выходит, напрасно стараются ученые продлить жизнь человека, напрасно борются с болезнями. Не устраивает это отца Симеона, ему важно, чтобы страх владел человеком».

Нет, Владимир Остапченко верил науке и не мог поверить рассказам о чудесах, противоречащих законам природы, тому, что, желая покончить с противником, Иисус Навин воскликнул: «Стой, солнце, над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою!»

«И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Солнце стояло среди неба и не спешило к западу почти целый день».

Не мог верить, что жезл Моисеев обращался в змею и, простертый над морем, разделял его воды, дабы дать возможность спастись евреям и потопить египтян.

Сомнения уже владели Николаем, но он еще не смел, как Володя, Саша, Илья, выразить их словами. Он пытался спорить с товарищами, бороться с сомнениями. Спасение от них — молитва. Так иногда казалось Николаю. Надо уйти от греховных разговоров, уйти от соблазна. И Николай молился.

Сегодня особенно тревожно было ему: утренний сон, исключение Федоровича, праздничное настроение в городе, беседа с товарищами — все завязывалось в один жгучий узел, рождало тревожные мысли. Надо освободиться от них, уйти с головой в подготовку уроков.

Выбрав удобный уголок, Николай раскрыл конспекты, чтобы переварить ту порцию семинарской «премудрости», что щедро была ему отпущена на сегодня.

Неподалеку от него Добылев заучивал вполголоса назва-

ния пятидесяти книг священного писания, которые вместе составляют Библию.

Их надо заучить в определенном порядке, какая за какой следует, а среди них есть такие, что спросонок и не выговоришь.

Подняв глаза к потолку, зазубривает Добылев:

— «Бытия, Исход, Левит, Числа... Паралипоменон, книга Неемии...»

— Погоди, — перебивает Николай, — а первую книгу Ездры ты забыл?

Добылев испуганно вздрагивает и начинает сначала торпливым шепотом:

— «Бытия, Исход, Левит...»

Книга Ездры попала на свое место, дело близится к концу. Но оказывается, что выскочила из порядка книга Товита.

И снова, уже плачущим голосом, твердит Добылев:

— «Бытия, Исход...»

Проходит не меньше часа. Добылев смотрит повеселевшими глазами: проскочили благополучно книги четырех больших и двенадцати малых пророков. Он широко ухмыляется, довольный собой. Но сделан только первый шаг. Теперь эти же самые названия надо запоминать в другом порядке: ведь эти же книги делятся на законоположительные, исторические, учительные и пророческие.

Николай сочувственно смотрит на Добылева, у которого все путается и мешается в голове. Завтра он будет стоять и мяться, глядя на отца Михаила покорными, овечьими глазами.

Если он справится с делением книг на четыре группы, то эти же самые книги придется расположить в два новых столбца — канонические<sup>1</sup> и неканонические — и заучивать в новом порядке. А потом выучить, какие в канонических книгах есть неканонические места и строки. Нет, не выплыть Добылеву из этих подводных рифов, где ошибка подстерегает на каждом шагу, и Добылев убито сидит над конспектами, даже губы его перестали шевелиться, а в глазах — тупая покорность судьбе: опять завтра будет двойка.

На секунду Николаю представилось, что названия эти вдруг пришлось бы учить Петру Пороховникову или Тае Макаровой.

«А зачем это мне? — задорно спросил бы Петя. — Язык ломать!»

---

<sup>1</sup> Канонические — книги, целиком принятые и узаконенные церковью.



«Что за схоластика! — возмутилась бы Тая. — Да кто позволил мозги сушить людям?»

Хорошо Петру: изучает механику — там все основано на точных цифрах и расчетах, вытекает одно из другого. Ему надо понять, научиться мыслить, а не зубрить бессмысленно целыми часами, как зубрит Николай...

Для вечерней молитвы семинаристы собрались в церкви. Входя, старались ступать неслышно, но в пустом здании гулко отдавались даже легкие шаги. Только несколько тоненьких восковых свечек мерцало перед образами, не разгоняя мрака, а, наоборот, словно подчеркивая его. Их свет, робкий и слабый, не мог побороть вплотную обступившую тьму. Лики святых только угадывались. Проступая в неверном мерцании свечей, они представлялись сейчас Николаю значительнее и таинственнее, чем обычно. Какими-то особенно волнующими показались и слова молитвы, произносимые невидимым чтецом.

С тревогой и волнением вспомнил Николай о тех сомнениях, той душевной тоске, которая одолевала его в течение дня, и осудил себя.

Осудил за греховные мысли, за невольное сочувствие Федоровичу, за невнимание на лекциях, за то, что мысль и воля рвались к чему-то лежащему за пределами семинарии, даже за радость, доставленную ему кусочком детства, представшим во сне, — и за это осудил: не мирские соблазны должны приносить радость.

Опустившись на колени, Николай молился, чтобы господь простил ему сомнения: «Верую, господи, помоги моему неверию!» Эти знакомые слова молитвы он сегодня твердил в каком-то неистовом внутреннем порыве. И ему казалось, что бог рядом, что он пошлет свою помощь, избавит от ненужных размышлений. Ведь Николаю так хочется верить в простоте душевной! Он сделал свой выбор. Он станет священником, так не расшатывать свою веру надо ему, а укреплять ее. Сейчас в церкви за молитвой ему казалось, что это возможно, что он сумеет обуздать свою свободную мысль, примирить непримиримое. Он и Матоква с Остапченко остановит, поможет сохранить веру, не даст им идти путем, который неминуемо приведет к безбожию.

Тихо вышел Николай из церкви, когда закончилась вечерняя молитва, и на улице еще продолжал повторять ее слова: «Милосердия двери отверзи нам... надеющиеся на тя да не погибнем». В последнее время такие порывы нередко бывали у него. И чем больше правды открывалось ему, тем яростнее и мучительнее были сомнения, тем более острыми приступами



Николай молился, чтобы господь простил ему сомнения.

религиозности сменялись они. В эти минуты примиренности с семинарской жизнью Николаю казалось, что никогда уже богороческие мысли не придут к нему...

А они приходили вновь и вновь с той неизбежностью, с какой день шел на смену ночи.

В спальне сегодня необычно тихо, — видно, каждому было о чем подумать. Свет погас, и даже самые разговорчивые, обычно мешавшие всем своей болтовней, умолкли.

После исключения Федоровича, лишения стипендии Саши Орешина напряженным было душевное состояние многих воспитанников, и, пожалуй, Панько следовало бы быть осторожнее, но именно сегодня он ждал богатого улова, потому и вошел еще более неслышно, чем обычно, в темную спальню, готовясь поймать кого-нибудь на крамольном слове.

«Явился!» — «Где?» — «Вон у двери». — «Ну погоди, иезуитина!» — донесся до Николая еле слышный шепот.

В ту же минуту что-то темное пронеслось по спальне, раздался грохот, крик Панько. Вспыхнул свет. Разгневанный преподаватель, держась одной рукой за лицо, другой подхватил запущенный в него огромный старый ботинок.

«Сорок пятый размер, не иначе!» — с удовольствием отметил про себя Николай.

Панько, красный, обозленный, сердито кричал, угрожал, перебегая от кровати к кровати и стремясь угадать виновника.

— Мигаев! — позвал Панько, уверенный, что Юрий не скроет правды.

Но Мигаев понимал: сегодня нельзя открыто идти против всех, а может быть, просто не знал, кто запустил в преподавателя ботинком.

— Не знаю, — промямлил он.

— Желяровский! — Панько стоял, кусая губы.

— Ничего не знаю, Василий Данилович, — заверил Желяровский.

В спальне зашумели голоса:

— Да вас никто не видел!

— Кто же думал, что вы окажетесь в спальне, да еще ночью!

— Зачем бы это?

— Наверное, в соседа кто-нибудь бросил.

— По ошибке попали.

— Конечно, по ошибке!

Панько на этот раз не останавливал кричавших. Надеялся, что в шуме и гаме кто-нибудь проговорится. Он даже глаза прижмурил, чтобы лучше слышать.

Но, едва голоса стихли, он злорадно усмехнулся. Он уже

продумал ход, который изобличит ложь и отдаст виновного в его руки. А уж тогда Василий Данилович с ним разделается. Дерзость будет наказана примерно. Исключить, только исключить! На меньшем Василий Данилович не помирится. И, уверенный в своем торжестве, Панько распорядился:

— Немедленно поставьте ваши ботинки у кроватей!

Воспитанники с готовностью выполнили приказ.

Панько медленно шел по спальне, заранее предвкушая, как расправится с тем, у чьей постели не окажется пары. Ботинок, запущенный в него, он нес бережно, как улику, которая поможет изобличить преступника, он даже прижал его к груди, словно ребенка. Но чем дальше он шел, тем лицо его вытягивалось все больше.

У каждой кровати стояла пара ботинок.

И вот тогда-то ярость Панько вырвалась наружу.

— Я покажу вам всем, безбожники! — хрипел он. — На преподавателя руку поднять! Все, все без стипендии останетесь!

— Господь прощать велел, — ехидно пропел кто-то измененным голосом.

Панько, как коршун, бросился на голос, но напрасно.

— Прощать? Это вам-то прощать? — выкрикнул он. — Не дождетесь!

На следующий день расследование продолжалось, но не принесло результатов.

Наказаны были все. Встречаясь и разговаривая с воспитанниками, Панько поворачивался к ним правой стороной лица. Под левым глазом еще долго темнел сизо-багровый синяк.

В спальне Панько по ночам больше не появлялся.

## *Глава VIII*

### ГОЛОС ИЗ ДРУГОГО МИРА

**Р**уководители семинарии понимали, что надо своих питомцев подготовить к жизни, научить хоть как-то отвечать на недоуменные вопросы верующих. Конечно, лучше бы эти вопросы не возникали совсем, но время такое...

И с этой целью наставники сами читали антирелигиозную литературу, делали пометки на ее полях, беседовали о ней с семинаристами. Много здесь старался отец Симеон, а отец ректор точно определил задачу: «Надо посещать антирелиги-

озные лекции, надо знать, что говорят атеисты, только тогда мы сумеем бороться с их влиянием». Вот поэтому семинаристы и отправились на одну из первых же лекций, объявленных в городском лектории.

Там Николай и встретил Светлану. Он вошел в зал, отстаив от остальных. Лекция уже началась, и Николай занял первое свободное место. Он даже не заметил сперва, что рядом с ним сидит девушка.

В середине лекции девушка наклонилась к нему и доверительно шепнула:

— Вы знаете, вот те молодые люди, один из них с бородкой, другой с длинными волосами, — это не стилиги, это семинаристы.

В голосе девушки было столько самого наивного удивления, что Николай растерялся. Сказать, что он тоже семинарист? Но она ни о чем его не спрашивала.

Лекция, которую он слушал до того очень внимательно, стараясь, как учили в семинарии, сейчас же находить возражения тем мыслям и фактам, которые приводил лектор, вдруг потеряла для него всякий интерес. Он искоса нет-нет, да и поглядывал на девушку. Она слушала с большим вниманием и кое-что записывала. Николай увидел тонкие пальцы и, глядя на них, решил, что девушка занимается музыкой. Вдруг налетели какие-то неясные воспоминания. Почему-то вспомнился ранний весенний день, перелесок, где похрустывает прошлогодний валежник; чуть наметились листочки на деревьях, а за их нежно-зеленым роем, таким трогательно молодым, — голубое высокое и чистое небо. Почему вспомнился этот день? Понял: пахло ландышем. Ландышем и весной.

Да... Тогда был конец апреля. И из травы меж широких темно-зеленых листьев, чуть покачиваясь, поднимался гибкий и нежный стебелек ландыша: казалось, затаишь дыхание — и услышишь перезвон белых бубенчиков.

Незнакомое волнение охватило Николая.

Повинуясь невольному внутреннему толчку, он повернулся к девушке и смущенно шепнул ей:

— Меня зовут Николаем, а вас?

Поколебавшись чуть-чуть, девушка шепнула в ответ:

— Светлана...

«Светлана», — повторил он про себя, чувствуя, что с каждой минутой все яснее и радостнее становится у него на душе. Неужели эта радость пришла к нему потому, что на свете есть девушка Светлана? Кто она? Что делает здесь?

Он не слышал того, что говорил лектор, и поэтому совсем неожиданно для него прозвучала заключительная фраза:

— У кого есть вопросы, товарищи?

Значит, все: лекция кончена, и сейчас Светлана — он даже фамилии ее не знает — уйдет в одну сторону, он — в другую. Как отсрочить это неизбежное расставание? Николай хотел только одного: чтобы никто из семинаристов не окликнул его... Он торопливо встал, пропуская вперед Светлану. Вышли из лектория вместе.

О чем только не говорили они в этот первый вечер своего знакомства! Но то и дело разговор для Николая повисал над пропастью.

«Что я делаю? — в тревоге спрашивал он себя. — Почему честно и искренне не скажу ей, кто я».

Но уходили минуты, и признание становилось все невозможнее.

— Ты знаешь, я агитатор, — объяснила она, — и у меня на участке есть женщина... Нет, не старуха... Ей лет сорок. И можешь себе представить, она верующая. Это в наши-то дни! Я ей про спутник рассказываю, а она ахает: «До чего велик господь!» Я ей: «Да при чем тут господь, когда это ученые наши создали, их труд, их мысль». А она: «Ученым-то господь разум вложил. Все от бога». Нет, ты понимаешь такое рассуждение? Ну совсем она дикая. А взгляд такой тупой, покорный. И в кино не ходит. Ну никакой радости у женщины нет. Только знает своим попам деньги таскает. Вот я и решила на лекцию сходить и почитать побольше: надо же человека к жизни вернуть. — Голос девушки звучал искренней тревогой за судьбу человека.

— А может быть, она счастлива? — неуверенно спросил Николай.

Светлана возмутилась:

— Счастлива в темноте, с покорно склоненной головой? Ну нет! — Вдруг она засмеялась, что-то неожиданно вспомнив. — А ты мог бы стать семинаристом? — и опять рассмеялась над нелепостью такого предположения.

Вот тут бы и сказать Николаю правду, но он молчал, мгновенно почувствовав, какой позор, какая дикость скрываются для Светланы за этими словами. Впрочем, она и сама не замедлила высказать это:

— Я вот сегодня смотрела на них и думала: «Что привело молодых, сильных в эту семинарию?» Наверное, только деньги.

— Нет, среди них есть люди, которые искренне верят в бога, — твердо заявил Николай.

— Чепуха! — решительно отрезала Светлана. — Ну, может, с детства кто-то верил. Но ведь до двадцати-то лет с

закрытыми глазами не проживешь, голова-то у них есть? Неужели нельзя глаза открыть пошире и посмотреть, просто посмотреть на жизнь?

— И все-таки искренне верующие среди них есть, — упрямо повторил Николай.

— Ты знаешь, для меня это так дико... непонятно... — Светлана умолкла, видимо подыскивая подходящее сравнение. — Для меня эти семинаристы вроде заповедника уссурийских тигров. Вот свел бы случай с каким-нибудь из них, я бы просто спросила его: «Кто ты, дурак, тупица, если не можешь увидеть правду, простую и ясную для ребенка, или подлец, что не хочешь ее видеть?»

Услышь Николай эти слова год назад, он просто ушел бы от нее, как ушел в свое время от Топорова, а сейчас со стесненным сердцем только подумал: «Вот, оказывается, как мы выглядим со стороны!» — и тихо спросил:

— Значит, ты бы не стала дружить с семинаристом?

— Никогда! — отрезала Светлана.

Волнами, теплыми и пряными, налетел аромат цветущих акаций, мягко шелестели листья.

— Вот я и пришла, — остановилась Светлана у калитки небольшого домика.

Но медлила, словно ждала от Николая каких-то слов.

— Светлана... — начал он и умолк.

Николай хотел спросить, когда они увидятся снова, и не знал, как это сделать. Светлана тем чутьем, что бывает у девушек, помогла ему:

— Приходи к нам завтра вечером...

Как уйдешь при строгих семинарских порядках, если присутствие на вечерних занятиях обязательно?

— Я свободен только до пяти, — смущенно пробормотал Николай.

— Значит, в вечернюю смену работаешь? Вот жаль! А у нас в институте занятия до двух часов.

— Давай встретимся в три, — попросил Николай, сам удивляясь своей смелости...

Со смятенными чувствами, чуть не бегом бросился он к семинарии. Остановился, перевел дух около темного здания церкви в тени раскидистых кленов.

Что случилось? К чему приведет сегодняшняя встреча? Что сказать, если его спросят, где он был?

Но бывает же такое счастливое стечение обстоятельств: в семинарии не заметили его отсутствия. Никого из наставников он не встретил. Часть семинаристов беседовала о прослушанной лекции, другие усиленно зубрили.

Заниматься Николаю совсем не хотелось. Прошел в класс, не зажигая огня, подсел к маленькой фисгармонии, притулившейся в углу. Опустил руки на клавиши. Что мог сыграть он? Только то, чему научил его отец Георгий: «Кому повем печаль мою», «Милосердия двери отверзи нам» или «Разбойника благоразумного». Нет, чего-то совсем иного, живого, радостного, просило сейчас сердце. Но такого он не знал...

В соседнем классе слышался громкий смех. Началась одна из скудных на выдумку вечерних забав современных бурсаков, когда «Со святыми упокой» пели живым, а о здравии и благоденствии поминали мертвых. Потом запели тут же сложенный акафист<sup>1</sup>:

Радуйся, Петре, Русь просветивый,  
Радуйся, Петре, окно в Европу прорубивый,  
Радуйся, Петре, боярам бороды побривый...  
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя...

Акафист пелся бы и дальше, но по коридору заспешили шаги, и голос Зиновия Ефимовича прекратил богохульную проделку.

— Выдумали еще! Акафисты святым читают, а Петра Первого православная церковь никогда к лику святых не причисляла! — торопливо объяснял преподаватель.

— Он колокола с церковью сдирал, верно, Зиновий Ефимович?

— Петра Первого антихристом считали, верно, Зиновий Ефимович?

— Не совсем так, — замялся преподаватель.

И разгорелся спор о том, был ли Петр Первый антихристом. Понесли историческую чушь, начали рассуждать, по каким признакам можно узнать антихриста.

Николаю стало еще скучнее.

Вышел во двор. Трое семинаристов, сидя на скамейке под деревом, обсуждали вопрос о женитьбе. Обсуждали деловито и даже чуточку грустно. Видимо, это были четверокурсники, для которых вопрос о женитьбе сейчас являлся чрезвычайно важным. Чтобы получить сан, надо или дать обет безбрачия, или жениться к этому времени.

И каждый по-своему и поскорее старался устроить семейную жизнь.

Давно была известна семинаристам история женитьбы

---

<sup>1</sup> А к а ф и с т — церковные хвалебные песнопения, прославляющие Христа, богоматерь или кого-нибудь из святых,



Желяровского. Желяровский навязчиво просил познакомить его с девушкой. Все равно с какой, лишь бы захотела стать матушкой, лишь бы ему скорее получить сан, на первый случай дьякона. Наконец товарищ по семинарии взялся помочь ему. На рождественские каникулы они вместе поехали в Таганрог. Девушка нашлась. Неказистая, правда, но разве в этом суть! Обходительностью, манерами, обещаниями вольготной жизни Желяровский быстро добился своего: обвенчался срочно у знакомого священника и с невозмутимой совестью уехал. Главное сделано — в кармане лежало церковное свидетельство о бракосочетании. Осталось немного. В один из ближайших дней за литургией через царские врата ввели его иподьяконы в алтарь, поклонился он в землю перед архиепископом Антонием и, выполняя чин, поцеловал край престола. Приобщившись святых тайн, он, выйдя из северных врат и стоя перед царскими вратами алтаря, произнес ектенью.

Желяровский накрепко заучил уставные указания для ставленников во дьяконы, когда и в каком, в пояском или земном, поклоне склоняться перед владыкой, когда надо поцеловать у него правую руку и левое плечо. Он принял дьяконский сан, а затем иерейский. Весной окончил семинарию, служит на приходе и совсем не думает о покинутой им жене.

Николай еще не думал о женитьбе, но и для него придет этот час. Половина семинарского курса пройдена. Он невольно прислушался к разговору старшекурсников.

— Встретить бы девушку хорошую, полюбить! — мечтательно произнес один.

— Полюбишь, а она-то еще полюбит или нет.

— Я в этом году кончаю, вот-вот сан получать, а ведь невесты-то нет. Хочу обет безбрачия давать!

— Дать-то можно, а вот как его сдержать: так и майся весь век в одиночестве.

— Нет, я на любой женюсь!

— «На любой»! Вот я вам что расскажу. Как Сергей сватался, слышали?

— Не довелось. А как?

— Тоже ему сан получать надо. Все хвастал нам, что нашел не девушку, а клад: кончила всего шесть классов, не комсомолка, живет в няньках, умеет стряпать — ну самая настоящая попадья получится. Правду сказать, я даже позавидовал ему. Вот воскресным вечером он приоделся и отправился к ней. Думаем, вернется — поздравим с невестой, даже бутылочку шипучего приготовили, а он вернулся туча тучей. Прогнала! Начисто отрезала! Как начала, говорит, поносить его:

«Попадешь стать? Да никогда! И откуда ты такой свалился! Другие хлопцы как хлопцы, кто слесарь, кто монтер... Нет, ты скажи, ты случайно не от психов сбежал? Так не бывает, чтобы молодой — и в попы метил».

— Дура — дура и есть! — резко перебил рассказ приземистый смуглый семинарист.

— Нет, братцы, — с тоской подхватил третий, — думать надо. Не слышали, может, у какого священника дочка в летах подходящих есть? Лишь бы жениться, а там стерпится — полюбится.

Они умолкли, занятые своими невеселыми мыслями.

Задумался снова и Николай, вспоминались семьи молодых священников, которых он знал. Не во многих был лад. Женились по необходимости, без любви, очень скоро начинались раздоры.

Вспомнился семинарист Муляренко, невзрачный на вид, с узкой грудью, реденькой бородкой и бесцветными глазами навывате. Свою невесту Клаву он уверял, что проживут неплохо, что быть священником — это только «специальность», «профессия». Показался он тихим, кротким, и поверила ему Клава, да горько ошиблась. Окончив семинарию, он стал священником, и в семинарии рассказывали, что скоро между прихожанами пошел нехороший слухок:

— Батюшка жену бьет. Так бьет! Места живого нет!

— Из синяков матушка не выходит.

— А уж плачет, бедная, плачет!

Трех недель не прошло после свадьбы, как начал молодой священник избивать жену. И ничего зазорного в этом не видел. «Жена да убьется своего мужа» — так учила его церковь. Сначала бил жену за то, что в церковь не ходит, не хочет петь на клиросе, а затем без причин, ежедневно, словно мстя за вынужденную женитьбу. Клава думала, что обойдется, перетерпит, безропотно переносила побои, выполняла всю работу по дому, стараясь хоть этим смягчить жестокое сердце мужа. Мать и отец Муляренко, особенно последний, бывший церковный староста, тоже не забывавший на каждом шагу помянуть имя божие, возненавидели Клаву и каждый день настраивали сына:

— Отпусти ты ее. Изгони из дома своего.

Не стерпела однажды Клава:

— А есть такой закон — жену калечить?

— Я законов не признаю. Волен со своей женой поступать, как хочу. Нас судить никто не имеет права: наш брак церковный, а не советский! — кричал Муляренко.

Не найти обиженным женщинам защиты у преосвящен-

ного. Владыка считает, что священник будет прав, обращаясь с женой по законам домостроя. Вероятно, это и развязывало руки многим из них.

Жена одного священника написала владыке об издевательствах мужа: впору хоть в петлю головой. Следы слез были на письме, вырвавшемся из души. Но владыка не нашел нужным даже ответить ей, а на письме, писанном кровью души, появилась сухая резолюция, написанная его старческой равнодушной рукой: «По каноническим правилам священник не может быть бийца. В этом нужно воздержаться. В остальном не вижу предосудительного».

Об этой резолюции рассказал Николаю вхожий к владыке Юрий Мигаев. Николаю хотелось думать, что она случайность, ошибка, но Мигаев рассеял его заблуждение.

«Баба — не человек, — усмехнулся он. — Адама бог создал, а Ева-то все-таки из ребра Адамова. Дьявол в раю женщину соблазнил, женщину сам бог проклял. Недаром ее в алтарь не пускают. На одной такой же жалобе владыка еще яснее написал: «Муж, поднявший топор на жену, научит ее жить». Так-то, Никола!»

Многое всколыхнулось сегодня в душе Николая. Кого из девушек он знал? У отца Георгия была дочка, полная, рыхлая, с нездоровым цветом лица, лениво дремавшая целые дни. На клиросе пела дочка церковного старосты, девица нахальная, крикливая... В праздники он видел в церкви и других девушек. Его всегда раздражало, как они крестятся, суетливо и невпопад, не сообразуясь со словами молитвы.

И вот с одной из них — любишь не любишь, а придется соединить свою судьбу, иначе не станешь священником.

Светлана? Разве такая, как Светлана, выйдет за него замуж? Как твердо прозвучало в ее устах слово «никогда», отрезавшее пути к их дружбе. Разум трезво подсказывал, что даже завтрашняя встреча ни к чему. Вечером Николай решил твердо: не пойдет на свидание. А утром с волнением ждал назначенного часа. Ему ничего не надо, просто увидеть ее еще раз. Посмотрит, поговорит и уйдет навсегда...

Встретил ее, как договорились, у подножия горки. Издали увидел белое платье и по тому, как забилося сердце, понял: это Светлана.

Нет, расстаться навсегда не хватило воли. Стали встречаться часто. Так часто, как мог он, скованный по рукам и ногам строгим режимом семинарии.

А Светлана Данилова, студентка, комсорг курса, жила полной жизнью: училась, читала много и жадно, летом собиралась ехать в Казахстан на уборку урожая. В прошлом году

она побывала в большом целинном совхозе. Рассказывала о степных полыхающих закатах, о море пшеницы, о натруженных руках и звонких песнях, о сильных, смелых людях.

Иногда она приглядывалась к Николаю.

— Станный ты какой-то. Молчаливый... И никогда не рассказываешь о своей работе. Что ты, не любишь ее?



— Не люблю о ней говорить, — покраснев, ответил Николай.

Светлана пристально посмотрела на него:

— Ты бываешь в театре?

— Не был... еще, — замялся Николай.

— Не был? В театре? Вот удивительный человек! Хотя, конечно, если ты жил в селе... Но клуб-то у вас был! Ну, а почему здесь не ходишь? Непонятный ты человек. Как будто много знаешь и... ничего не видел. И все же интересный ты, умный, но какой-то не такой...

Светлана не могла подобрать слова, а Николай внутренне сжался, ожидая неминуемого разоблачения.

Но, может быть, именно необычность, которой Светлана не находила разгадки, невольная таинственность, окружавшая Николая, и влекли девушку к нему.

Николай чувствовал, как радостно она устремляется к нему при встречах. Он знал, надо быть честным, надо сказать Светлане, кто он, чтобы ей все стало понятным... Но тогда конец... Каждый раз шел с твердой решимостью сказать правду и не мог. При встрече решимость его сразу таяла: «Не сегодня, только не сегодня!»

Иногда приходила мысль: вдруг Светлана изменит свои взгляды, вдруг и она поверит в бога? Придет такой день, и ничего не будет стоять между ними. Он начал разговор о мудрости, с которой устроен мир, о том, как необходимо человеку быть честным и трудолюбивым, думать о других. Светлана соглашалась с ним, но все истолковывала по-своему:

— Честным, как Павка Корчагин, как Уля Громова, — подхватывала она. — А стихи Мусы Джалиля ты читал? Подумать только, в фашистском застенке, накануне смерти, так мужественно писал о родине, думал только о ней!

Каждая встреча еще раз доказывала Николаю: они разные люди, неминуемо придет минута, когда обман обнаружится. Но не встречаться не мог, и в сердце жила смутная надежда на что-то несбыточное, на чудо... Но однажды все оборвалось, неожиданно и горько.

Был субботний вечер. Уже собирались самые рьяные богомолцы. Старушки по углам церкви разбирались со своими заранее припасенными скамеечками, а в притворе при входе в храм какой-то желчный, испитой богомолец рассказывал сгрудившимся вокруг него прихожанам о снах и видениях. Старушки охали и крестились, беря всякие чудеса на веру. Кое у кого и деньги в кармане зашевелились: как не дать грешку святому человеку, с которым сама богородица по ночам ведет душеспасительные беседы. До начала всенощной оставалось полчаса. Николай вышел на улицу, опустил в ящик письмо матери.

Целым роем у церковной ограды расположились оборванцы и кликуши. Кто-то из них крестился, бормоча молитвы, другой дребезжащим голосом тянул один и тот же псалом. Николай старался не смотреть на них: как всякая ложь и лицемерие, их притворство возмущало его до глубины души. Он знал, они нарочно вырядились в это тряпье, чтобы разжалобить сердобольных прихожан. Эти руки и головы в другое время могут не дрожать. Вот того толстого, с оплывшим лицом он совсем недавно видел на базаре мертвецки пьяным. И зря на нем надета выцветшая гимнастерка — никогда он не был на фронте. А та кликуша, что бьет себя в грудь и закатывает глаза, имеет собственный домик на Ташле, сдает койки студентам.

Стало до боли обидно, когда вспомнил, как на его сетования духовник спокойно ответил: «Ими вера держится, блаженными да убогими».

Входя в церковную ограду, Николай, как всегда, осенил себя крестным знамением. И в ту же минуту услышал за спиной негромкий, тревожный вскрик: «Коля!» Быстро оглянувшись: в нескольких шагах от ограды стояла Светлана, огромными, испуганно-изумленными глазами смотрела на него.

Николай бросился к ней:

— Светлана! Я все объясню... Светлана!

Поблуднев, глядя на его черную семинарскую форму, она отступила на шаг и очень четко сказала:

— Я все поняла. Все. Слышишь... Да как ты смел подходить ко мне?!

— Светлана, подожди, — твердил он. — Я все тебе скажу...

— Что? — резко спросила она. — Что ты семинарист — са-

ма вижу. Только не знаю, тупица ты или подлый человек. Последнее вернее.

— Светлана! Нет! Нет! Я людям служить хочу. В горе, беде их утешать. — Он протянул руку, словно надеясь, что она поймет его, поверит ему.

Она вскинула на него глаза, полные обиды и гнева. На секунду ему показалось, что она готова смягчиться.

— Светлана, — повторил он, словно защищаясь ее именем от того горя, что сейчас, сию минуту всей тяжестью обрушится на него.

Она отступила еще на шаг.

— Прочь! Прочь от меня!

Круто повернувшись и, не оглядываясь, быстро пошла по улице. Она почти бежала, словно стыд и обида гнались за ней.

Растерянный, уничтоженный, стоял Николай среди оборванцев, среди их протянутых рук, нарочитых лохмотьев, стоял, одним ее словом отброшенный с дороги, для нее такой же блаженный и убогий, такой же лицемер и обманщик, как эти кликуши.

## Глава IX

### ГОСПОДЬ БОГ И КНИГА ЛЕВИТ

**В**олодя Остапченко, невысокий, с крутым лбом, с умными, пытливыми глазами, и прежде нравился Николаю. Сейчас, когда Николай особенно остро чувствовал свое одиночество, дружба их все больше крепла.

Вырос Володя в семье верующих и с детских лет окупнулся в религиозные споры. Да какие! Острые, непримиримые. Отец у него был сектант, мать — православная. Каждый старался склонить другого к своей вере, каждый жил надеждой победить. Отец ждал: настанет час, когда он скромно, не подымая глаз, а в душе торжествуя, введет мать в молитвенный дом, а мать надеялась, что он вернется в лоно православной церкви. И оба рьяно и фанатично сражались за душу маленького сына. Володя слушал проповеди в церкви и поучения на молитвенных собраниях сектантов, старался понять, где же правда. Он выбирал не между верой и безверием, а между двумя верами. В одном только сходились родители: советовали ему быть сдержанным и не делиться своими мыслями ни в школе, ни в техникуме, куда он поступил.

Его товарищи доверчиво считали всех своих сверстников атеистами, неверие в бога для них было настолько естествен-

ным, настолько подразумевалось само собой, что они совершенно не задумывались над тем, что стоит за сдержанностью Володи.

Ну, молчаливый. Что ж тут такого? Видно, характер такой. Учится парень хорошо. И на воскресниках «вкалывает» подходяще.

Между тем в борьбу за Владимира со стороны отца включились «братья и сестры во Христе», а со стороны матери — пожилой, бывалый священник.

Может, и привлекла бы Володю к сектантам их внешняя демократичность, это кроткое обращение друг к другу «брат», «сестра», но молодое сердце хоть и доверчиво, да чутко на всякую фальшь. Очень быстро подметил и понял он, что в опущенных вниз глазах — ой, как часто! — мелькает неприкрытая злоба, что за смиренными словами сектантов стоят притворство и тупость. Его возмущал их призыв не притрагиваться к книжкам, не слушать радио, не ходить в кино. Покаянные речи и стихи, которые распевали они в молитвенном доме, не мешали им ненавидеть людей, хотя они ханжески уверяли, что любят их. Страшно было в семьях фанатично настроенных сектантов: здесь дети не смели улыбаться, громко говорить, петь. Часто их и в школу не пускали.

Священник не жалел красок, разоблачая баптистов, давно жгла его обида: немало овец потаскали они из его и без того поредевшего стада, играя на толковании евангелия и уверяя, что истинная вера только у них.

«Вам непонятно многое, — говорил священник Володе. — Идите учиться в духовную семинарию. Там вы найдете ответ на все вопросы, разрешите все сомнения».

«Уезжаю», — заявил Володя на работе. А в вечернем техникуме ничего не сказал. Просто на уроке его место оказалось пустым. Прошел день, два, забеспокоились товарищи, пришли к родным Володи, да поздно: Володя уже уехал.

Так оказался он в семинарии. Пытливость отличала его с детства, был он начитаннее Николая, и потому сомнения раньше овладели им, мысли его были смелее.

— Ты вдумайся только во все библейские рассказы, — возбужденно говорил Остапченко Николаю, прогуливаясь по двору в отдалении от семинарии, чтобы никто, даже Панько, не мог его услышать. — Всесильный бог мог одним словом не допустить появления дьявола и темных сил, а он затевает длинную и утомительную многовековую суетню с бессильными попытками спасти человечество от греха.

— Но грех-то от дьявола, — неуверенно возражал Николай.

— А кто допустил существование дьявола? — возбужденно доказывал Владимир. — Бог! Даже в раю господнем дьявол делает что хочет. Бог обещает смерть, если Адам вкусит от древа познания добра и зла, но сатана уговаривает Еву сорвать яблоко. За ошибку одной Евы бог карает всех людей на все времена: изгоняет из рая, проклинает и Адама, и Еву, и все их потомство. И все это только за то, что Ева сорвала яблоко! Сорвала, соблазненная дьяволом, то есть при попустительстве божием.

— Погоди, — не понял Николай. — Но Ева сама сорвала яблоко, сама соблазнилась.

— А мог всеильный бог не допустить соблазна? Мог не допустить существования дьявола?

— Мог, — неуверенно согласился Николай.

-- Видишь! Он всеильный? Мог не допустить соблазна! Милостивый? Должен был не допустить! А он только и делает, что толкает людей на грех. Нечего сказать, хорошенькое занятие!

— Ну, это ты слишком! — невольно протянул Николай.

— А я докажу! — горячился Володя. — Вот смотри. Разве не библейский бог толкает на убийство Каина, предпочитая его жертве жертву Авеля? А совершилось убийство — и бог снова тут как тут. Снова звучит проклятие: «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И снова не исполняется предначертанное богом: «И пошел Каин от лица господа и поселился на земле Нод, на восток от Эдема...»

Николай широко раскрыл глаза. Ведь верно! Не стал изгнанником и скитальцем Каин, основал город, получил семью, и сыновья его положили начало роду мастеров и тружеников. По заверениям той же библии, Иовал становится отцом всех живущих в шатрах со стадами, Иувал — отцом всех играющих на гуслях и свирелях, Тувалкаин — ковачом всех орудий из меди и железа. Неужели и здесь прав Владимир: не исполняется и это проклятие божие, как не исполняются его благословения.

— А ты все в единой цепи возьми. Раз одни противоречия — значит, ложь, — горячился Владимир. — Вот библия рассказывает: «Увидел господь, что велико развращение человека на земле... И сказал господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ты помнишь это место?



— Помню, — тихо ответил Николай.

Ему не хотелось признаться, что эти несколько фраз рождали в нем подлинное возмущение и гнев. Зачем было богу создавать человечество, если он потом раскаялся в этом? И как он, всезнающий, не знал того, что люди начнут грешить, а всемогущий не остановил их. Кто он: бессильный или злобный?

Володя, оглянувшись, по своей семинарской привычке, нет ли за плечами Панько, взволнованно продолжал:

— А я вот все думаю: неужели у бога, если он милостив, не было других средств для спасения людей, кроме их поголовного истребления? При этом под сердитую руку досталось не только людям, но животным и птицам. Разразился, как рассказывает библия, всемирный потоп. Спасается только Ной с тремя сыновьями: Симом, Хамом и Иафетом. Но почему Ной оказывается праведником? За какие заслуги он получает чуть ли не тысячелетнюю жизнь?

Слушая товарища, глубоко задумывается Николай. И правда, почему не предвидит бог, что его «праведник» Ной в одиночку упьется виноградным соком до бесчувствия, а Хам оскорбит отца? И за ничтожную вину «праведник» Ной проклянет сына, пообещав ему и всему потомству его, ничем не виновному перед Ноем, рабский удел. И неужели «всесильный», «всемилостивый» бог мог считать праведником Ноя, человека, основавшего на земле рабство со всеми его ужасами, со всеми его кошмарами, безумные гримасы которого сохранились и по сей день в виде зверств Ку-клукс-клана и судов Линча?

— Зачем же так держатся наши наставники за библейские тексты, ищут в них прообраз евангельских событий? — взволнованно спросил он Володю.

Володя засмеялся в ответ:

— Эх, простота! В числе библейских книг есть и книга Левит...

— А при чем она? — не понял Николай.

— Да в ней же главное заключено! Это в ней рассказывается о жертвах. Верующие должны приносить их богу, ну, а самый жирный кусок из них принадлежит священнику. Эта «святая» книга говорит и о магических действиях, обрядах, которые священника делают священником, «молитвенником за грехи верующих». Это, если хочешь, книга о тайнах профессии, о том, как доходы получать, как отцу Аполлинарию купить три домика в Пятигорске на имя жены и двух дочек.

Ясно встали в памяти Николая фигура и лицо ректора, со вкусом толковавшего еще в прошлом году книгу Левит. Он подробно рассказывал, что делалось с салом и почками жерт-

венного животного, как священник «потрясал ими перед лицом бога».

Понимая, как дико звучат в наши дни эти картины жертвоприношений, ректор объяснял, что ветхозаветные жертвы имели «прообразное значение», указывая на великую искупительную жертву спасителя. В Ветхом завете, дескать, Новый сокрыт, в Новом — Ветхий раскрыт».

Ну, а затем опять рассказывал о том, что кровью надо помазать ухо, большой палец правой руки и ноги.

«Зачем он толкует обо всех этих диких, ушедших в прошлое вещах? — с обидой думал Николай. — Неужели он, умный, образованный человек, не может просто отбросить эти рассказы».

Отбросить? Но ведь и Николаю, став священником, придется искать путей, чтобы примирить себя со многим. Иного выхода нет: он обязан во всем следовать правилам православной церкви.

Книга Левит...

— Нет, — продолжал между тем Володя, — не зря изучается книга Левит. Она определяет, какая часть жертвенного барана и тельца, муки и елея отходит священнику. В библейские простодушные времена жертвами были мука и масло, мясо и соль, но они были только прообразом сегодняшнего дня. Сегодня слитки серебра преобразовались для священнослужителей в сберегательные книжки, в уютные и добротные домики. Жертвенные бараны и козлы — в автомашины. Нет, Николай, священнику без опоры на книгу Левит не прожить.

Николаю вдруг вспомнились слова Нины Сергеевны: все религии считают, что если уж принята жертва, то бог обязан помочь, «отработать». Жрецы и священнослужители старались, чтобы жертвы шли богу только через них, оседали в их карманах. В храмах скапливались огромные богатства. В храмах египетского бога Амона три тысячи лет назад было восемьдесят тысяч рабов, около полумиллиона голов скота, несметное количество земель и садов...

Николаю казалось тогда, что ему нет никакого дела до храмов Амона, так почему же сейчас всплыли в памяти рассказы классной руководительницы?

И, словно переключаясь с тем, что уже было слышано Николаем в школе, Володя говорил вполголоса, словно размышляя вслух:

— Везде звенья одной цепи: бог, жертва, священник, богатство. Читал же ты, поди, сколько земель принадлежало церквям и монастырям в России. Одних крепостных было

около миллиона. А возьми сегодняшнюю церковь. Вон в Америке ее собственность оценивается в двадцать пять миллиардов долларов. Дело там поставлено вполне по-современному. Есть и кинофильмы про Ноя и Моисея, и самолеты, на которых можно совершить бракосочетание в небесах, «поближе к богу». Есть и благословляющие автоматы, и автоматы, которые за пятнадцать центов молитву проигрывают, а хочешь под музыку молиться — пожалуйста, только заплати побольше. Там обильные жертвы пожинают.

— Но у нас же не так, — пытался протестовать Николай.

Вместо ответа Володя протянул руку. Около здания шла обычная для архиерейского и семинарского подворья хозяйственная суета. Торопливо разгружал машину с щедрыми дарами из епархии усатый эконо́м Калинин; завхоз семинарии Шилин, полуобняв за плечи какого-то юркого и неприятного человечка, вел его к семинарской столовой угостить после выгодной сделки: повар уже получил распоряжение поджарить рыбки, а поллитровка торчала у Шилина из кармана — денег верующие в церковь несли достаточно, и ни Калинин, ни Шилин на взятки и на подкупы не скупились.

Достраивалась семинария, нужны были лес, цемент, железо, и Шилин рыскал по городу, заключая сделки, а потом распивал тут же, в семинарии, щедрые магарычи.

Николай глядел на всю эту суету, которую в обычное время брезгливо старался не замечать, считал каким-то неизбежным злом.

Сейчас она предстала перед ним в новом свете. Всплывали в памяти слова из книги Левит: «потрясать почками и салом перед лицом господа».

— Ты не слышал, — почти безразличным голосом спросил Володя, — сколько архиепископ своим племянникам домиков купил, на сколько сотен тысяч это потянет? — Он невесело засмеялся. — Вот тебе и книга Левит в действии.

В это время на дворе раздался негодующий шум. Взволнованный эконо́м наткнулся среди приношений из епархии на странный мешок. Он развязал его и отпрянул: в мешке лежали сухари. Да, обыкновенные черные сухари! Кто осмелился так подшутить над преосвященным?

К вечеру вся семинария знала о «недогадливости» одного из выпускников. Молодой священник, несмотря на подсказки старших («Ты бы мучки! Ты бы маслица!»), никак не мог взять в ум, что должен поднести владыке взятку. Наконец рассерженный владыка решил вразумить его и послал ему свое архипастырское благословение с горьким сетованием и просьбой «хоть мешок сухарей прислать для епархии». Но и тут не



понял отец Виктор намека и добросовестно выполнил просьбу — прислал архиепископу мешок сухарей.

Недогадливого священника жалели: владыка злопамятен, не сойдет отцу Виктору его непонятливость, горько отольется — теперь не ждать ему ни повышения, ни богатого прихода... Не входят черные сухари в число жертв, перечисляемых в книге Левит и угодных богу и его служителям.

Вечером в спальне только и разговоров было, что о происшествии. Откуда-то узнали, что на днях Маня, секретарша, или, как ее звали, Маша-владычица, намекая на особое к ней расположение преосвященного, разослала по приходам написанное под копирку письмо: «Возлюбленный во господе архиепископ наш нуждается в лечении!» Значит, снова приедут на архиерейское подворье груженные машины, явятся послы из приходов с плотными, увесистыми пачками денег в кармане.

— Книга Левит... — медленно произнес Николай. — А почему она обязательно должна довлеть над нашей жизнью? Почему нам с тобой не стать пастырями, которые не ищут земных благ? Ведь есть же такие пастыри!

— Иногда встречаются, — усмехнулся Остапченко.

— Я по учению Христа хочу жить. Кроме Ветхого завета, есть Новый. Есть евангелие, — возбужденно говорил Николай, словно самого себя старался убедить в правоте этих слов.

— Снова тебя в благочестие метнуло, — грустно сказал Володя.

— «Снова»! — На щеках Николая вспыхнул румянец. — Отец Георгий говорил мне о пастырском призвании. Господом призван и отступником не стану.

Лицо Остапченко было недоверчивым и насмешливым, но выражение это не обидело Николая, наоборот — ему стало больно за товарища, в эту минуту он особенно любил Володю, хотел ему добра.

— Опомнись, Володя, — тихо, с ласковой и бережной силой сказал он. — Не напрасно нам советуют не мудрствовать. Видно, правда ограничен и слаб наш мятущийся разум.

— Откровения ждать? — непримиримо и резко спросил Володя.

-- Откровения! — твердо ответил Николай.

— Нет! Если по образу и подобию божьему создан человек, значит, и мысль свободная дана ему. Зачем же я буду свою свободную мысль душить?

— Свободой нас темные силы искушают, — уронил Николай.

— Не верю! И тебе не убить свою свободную мысль.

— А я не стану ее убивать. Я к богу ее направлю.

Владимир с горечью посмотрел на товарища: нелегко Николаю, он это знал по себе. Тяжко, когда мятется душа.

Да, Николаю было тяжело и хотелось снять, сбросить эту непосильную тяжесть.

— Исповедаться, батюшка, хочу, — сказал он духовному отцу Николаю Лупьянову.

— Благое дело, — ответил тот.

Духовник семинарии не был особенно близок Николаю, не внушал ему такой симпатии, как ректор.

Окладистая седая апостольская борода делала отца Николая представительным и благодетельным, но при более внимательном взгляде это впечатление разрушалось. Чуть сдавленная в висках голова с плотно прижатыми ушами, широкий мясистый нос, неподвижные, почти без выражения глаза под набухшими красноватыми веками, щеки в сетке синих прожилок были какими-то грубо плотскими и не вязались с обликом пастыря, каким он рисовался Николаю.

Впрочем, многие семинаристы его любили.

«Мягкосердный, добрый, — говорили про него. — Всех из семинарии готов выпустить, даже без экзаменов».

Лупьянов действительно считает, что из семинарии можно выпустить любого.

«На приходе дойдет», — махнув рукой, говорит он о неудачливом семинаристе.

Но случались у отца Николая странные перемены в настроениях, бывал он резок, раздражителен, даже гневен, словно что-то темное мучило его, отталкивало от людей. Правда, он быстро брал себя в руки, становился еще мягче, приветливее; даже кое у кого из семинаристов прощения просил после этих бурных вспышек.

У него-то и должен был Николай получить отпущение грехов.

Николай стал ревностно готовиться к исповеди. Отстаивал все церковные службы, в свободное время отдаляясь от товарищей, читал священные книги, а если мысль опять по проторенной дорожке отклонялась в сторону и соскальзывала на шаткую почву сомнений, начинал читать молитвы.

«Господи, избави меня всякого неведения, и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия», — твердил он. Знакомые слова молитвы снова помогали обрести спокойное состояние.

«Всегда были и есть люди, — думалось Николаю, — которые мучились и сомневались и преодолевали сомнения».

Николай похудел. Казалось, какой-то внутренний огонь сжигает его, глаза лихорадочно блестели. Что ему за дело до маловеров и стяжателей! Свое сердце он сделает чистым и станет достойным имени пастыря.

— Что с вами? — участливо и обеспокоенно спросил его при встрече отец ректор. — Не заболейте. Поститесь через меру, как я слышал. Проще на все смотрите, легче вам будет жить.

Но даже совет ректора не заставил Николая ослабить свое рвение.

Прижав руки к груди, Николай шагал вдоль церковной ограды, весь отдавшись внутренней молитве: «Господи, всели в мя корень благих, страх твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любити тя от всея души моя и помышления и творити во всем волю твою».

Вчера он съел только кусок хлеба, сегодня выпил несколько глотков воды, но есть не хотелось. Слегка туманилась голова. Николай огромным усилием воли окружил себя как бы непроницаемой стеной. Ничто не долетало сейчас до него извне, из шумного мира с его тревогами и заботами. Кольцо из

молитв окружало его. Внутри этого кольца он был один, наедине со своим раскаянием, с молитвой о прощении, с просьбой о том, чтобы вернулась та чистая, ничем не замутненная и не смущаемая вера, какая была у него в детстве.

Как горячо он молился в субботу за всенощной! С клироса неслось торжественное пение: «Дивна дела твои, господи. Вся премудростию сотворил еси».

Николай стоял у колонны. Он не крестился, но знакомые с детства слова словно на облаке уносили ввысь его душу. Сотни тысяч людей многие века возносили эти слова к престолу господню.

А он, маловвер, ничтожный, самоуверенный человек, начал сомневаться в величии и силе божьей! Но благ господь. Слезами, раскаянием, всей жизнью, посвященной богу, он заслужит прощение его.

И, когда наступил любимый Николаем момент и в тишине, полной скорбных вздохов молящихся, священник, служивший всенощную, возгласил: «Слава тебе, показавшему нам свет», Николай упал на колени. «Слава... Слава тебе!» — твердил он, и ему казалось, что навеки преодолел он в себе все сомнения.

Окончилась всенощная, расходились последние молящиеся, приложившись к иконе; батюшка, уже сняв облачение, торопливо спешил к выходу, благословляя на ходу последних богомольцев; староста тушил свечи, собирал огарки, только два-три огонька еще теплились в опустевшей церкви, погруженной в торжественный, чуткий мрак.

И вот Николай наедине со своим духовником. Прочитана молитва. Трепеща и волнуясь, начинает рассказывать Николай о своих сомнениях, о толкованиях книги Левит.

— Не осуждал ли брата своего? — настороженно спрашивает духовник.

Николай начинает рассказывать о трех домиках отца Аполлинария, об экономе, сгружавшем дары для преосвященного, но духовник торопливо перебивает его:

— Не судите, да не судимы будете.

— Батюшка, грешен, душу мою смущают противоречия в библейских рассказах, — волнуясь, говорит Николай.

— От лукавого всякое мудрствование, — хмурится духовник. — Преодолевайте соблазны. Зельем табачным не баловались или вином?

— Нет, батюшка, другое на душе. В силе и могуществе божьем начал было сомневаться.

— Силен сатана. Молитесь. Преодолевайте мысли греховные. Не смотрели ли на женщину с вожделением?

Вопрос духовника так далек от душевного состояния Николая, что он даже не сразу понимает, о чем спрашивают его. Раскаянием в другом, более страшном грехе полно его сердце. Наконец вопрос духовника доходит до сознания Николая.

— Нет, батюшка. В другом грешен: доброту господнюю ставил под сомнение.

Но духовнику трудно уйти от привычных, тысячи раз повторенных вопросов:

— Не поминали ли имя господне всуе?

Огромная тупая усталость наваливается на Николая. Из последних сил старается он вернуть свое восторженно-покаянное настроение. «Опомнись! — кричит он себе. — Не отец Николай слушает тебя сейчас. Тебя слушает сам бог. Он знает, в чем твои грехи. Он простит их».

Вдруг до слуха его доносятся тяжелые шаги. Неужели староста не ушел из церкви? А может, есть еще желающие исповедаться? Господи, прости! Идет исповедь, а он думает о постороннем.

Николай напрягает всю волю, и ему снова удастся сосредоточиться на исповеди.

Духовник накрывает его епитрахилью<sup>1</sup>, кладет руки ему на голову, отпуская грехи, вольные и невольные, яко словом, яко делом, яко помышлением.

Из церкви выходят вместе. Сойдя с паперти, отец Николай откинул рукав рясы и совсем обычным голосом произнес:

— Девять. Бегут часики, нас не спрашивают. А меня сейчас, Никола, на именины ждут. Пенять будут за опозданье. Жаль, тебе сегодня ничего есть не положено, а то бы я тебя с собой захватил.

Он погладил рукой окладистую бороду, словно предвкушая именинные яства, кивнул Николаю головой и ускорил шаг.

А Николай долго стоял растерянный, опустошенный, не в силах понять, что произошло.

Он так страстно ждал часа исповеди, надеясь услышать от духовника какие-то особые, внушенные богом слова, а духовник наскоро совершил привычный обряд, торопясь в гости.

Что это? Снова заговорила в нем гордыня, опять он готов осуждать ближнего своего? Только что отпущены ему все грехи, и вот он снова готов грешить!

Нет! Нет!

И, стремясь отогнать греховные мысли, Николай неистово начинает молиться.

---

<sup>1</sup> Епитрахиль — часть священнического облачения.



## НО ЕСТЬ ЕЩЕ ЕВАНГЕЛИЕ!

**Н**иколай сидит над приготовлением урока по Новому завету. Приходится заучивать целые куски из евангелия.

«Это вам пригодится в споре с безбожниками или сектантами. Всегда надо знать текст, чтобы вовремя привести его», — уверяли семинаристов преподаватели.

Николай, закрыв евангелие, повторяет на память главу о молении Христа в саду Гефсиманском. Прочел он ее с волнением, потом стал заучивать. Очень трудно давалась фраза «оба же не якоже аз хочу». Добираясь до нее и не в силах вспомнить, Николай снова открывал книгу, чтобы прочесть ускользавшие из памяти слова. Но постепенно и они стали в строй. Николай уже механически читал текст, прикрыв глаза рукой. Прочел, не споткнувшись, раз, другой, третий. И задумался.

После исповеди и причастия ему казалось, что религиозная волна вновь подхватила его и вынесла в тихую заводь спокойной веры, но, видно, прав был Володя Остапченко: свободную мысль невозможно убить в себе.

Четыре евангелия рассказывают в четырех вариантах историю о рождении, жизни, смерти и воскресении Христа, сына божия, посланного на землю, чтобы смертью своей спасти род человеческий, дать людям правила Нового завета.

Эти события лежат в основе христианской религии. Евангелие — это основа основ христианской церкви.

Николай не хочет беседовать о нем с Володией Остапченко, направление Володиных мыслей слишком ясно ему. Нет, Николай не допустит в свои раздумья скептицизма, идущего со стороны. Ему хочется другого: вооружившись евангельскими истинами, укрепившись в вере, пойти в наступление на скептицизм товарищей.

Николай решает быть самостоятельным в суждениях. Он отдает себя в руки божьи. Пусть сам бог поможет ему понять и принять каждое слово святого писания. Укрепившись в чтении евангелия, он не побоялся читать и антирелигиозные книги. Если вера его будет тверда, если фундаментом ее станет слово божье, то нечего бояться и ветра неверия, он не сможет пошатнуть его убеждения. А уж тогда, проверив себя, испытав огнем силу своей веры, он сможет повлиять и на своих товарищей.

Многое волнует Николая в евангелии, кажется ему пре-

красным: и нагорная проповедь, и тайная вечеря, и крестные страдания Христа.

Но немало здесь и страниц, которым Николай не в силах поверить. Немало совершается здесь чудес самых неожиданных и... недостоверных: то Христос обращает воду в вино на пиру, то изгоняет из бесноватых бесов и бесы вселяются в стадо свиней, заставляя их броситься в море, то воскрешает уже начавшего разлагаться Лазаря.

Николай видит, что преподаватели семинарии по-разному оценивают эти чудеса.

Он спрашивал, как понять и истолковать страницы евангелия, где рассказывается, что Христос в пустыне насытил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, пришедших слушать его проповедь, и после трапезы остались двенадцать коробов кусков. Ответы были самые различные.

«Для бога нет невозможного, — говорил Тревольский, преподаватель Нового завета. — Чудо — доказательство силы божьей, а значит, Христос мог ходить по водам, мог прирастить воину отрубленное ухо, мог и в пустыне накормить пятью хлебами тысячи человек. Чудо есть чудо. И в объяснениях оно не нуждается».

Зиновий Ефимович пытался найти чудесам правдоподобные объяснения.

«Ну что ж, — говорил он, — вероятно, когда люди пошли за Христом в пустыню, то часть из них захватила с собой еду. А когда Христос, преломляя хлеб, стал делиться с теми, у кого ничего с собой не было, устыдились и остальные, поделились своей едой с неимущими. Вот все и насытились».

С хождением по водам объяснение было найти труднее, но все же оно находилось и тут. В Мертвом море большое содержание соли, утонуть, дескать, в нем нельзя, на основе этого могла возникнуть легенда и о хождении по водам моря Галилейского.

А третьи не утверждали чуда и не искали ему объяснений.

«Не в самом чуде дело, — говорил отец ректор, — а в том, чему оно учит. В этих чудесах скрыт таинственный смысл. Не о хлебе едином идет речь, а об истинах нового учения, которыми насытил Христос людей, не о хождении по водам, а о силе веры, которая способна спасти, не дать утонуть в море сомнений и безверия».

В глубине души Николай уже склонялся к третьему объяснению. Конечно, не может отец ректор верить в наивные чудеса, значит, и Николай, отталкиваясь от евангельских рассказов, сможет учить людей добру и правде.

Но противоречий в евангельских рассказах не мог не видеть даже Николай Федорович Троевольский.

Внешне он производил впечатление не то скептика, не то очень усталого человека. Гладко выбритое лицо. Углы брезгливых губ чуть опущены книзу. Глубокие складки прорезали щеки. Глаза, как и у отца ректора, скрыты за очками. Седая голова, всегда чуть склоненная, словно не хочется ему, выпрямившись в полный рост, смотреть на мир.

Недаром Володя как-то признался Николаю, что его так и подмывает спросить у Троевольского: «А ты веришь? Всему веришь, что говоришь?»

Троевольский сам видит, что разные евангелисты об одних и тех же событиях говорят по-разному. В евангелии от Иоанна считается, что Иисус провел свое детство в Иерусалиме, а остальные утверждают, что в Галилее.

Матфей и Марк повествуют, что Иисус был окрещен Иоанном Крестителем, а Лука уверяет, что, когда Иисус крестился, Иоанн был в тюрьме.

Даже имена двенадцати апостолов называются разные.

В евангелиях немало и прямых ошибок. Иудейский царь Ирод, который действительно существовал, умер за четыре года до того времени, когда, по евангельским рассказам, родился Христос, а значит, никак не мог устраивать избиения младенцев, чтобы убить Христа, да и о самом избиении младенцев не упоминает история, хотя такое событие не могло бы пройти незамеченным.

Евангелие говорит, что Иисус провел свое детство в Назарете, а история утверждает, что Назарет основан во II веке христианской эры.

Невольно возникает мысль, что люди, писавшие евангелия, никогда не жили в Палестине, не знали ее истории, географии, обычаев.

А за этим вставала более страшная для Николая мысль: о правдивости самих событий, фактов жизни Христа.

— Надо помнить, — говорит Троевольский, уставясь тяжелым взглядом в доску стола, — что книги Нового завета есть произведения боговдохновенных мужей, которые не могут лгать, значит, они истинны и святы.

Он не смотрит на семинаристов и не видит напряженного ожидающего взгляда Николая Бахарева, а если бы и увидел эти глаза, то ясно прочел бы в них упрек и разочарование.

«И только-то!» — с горечью думается Николаю. Значит, всего только карточный домик, где одна карта поддерживает другую: убрали одну — и рассыплется в прах все здание. Кни-

ги святые — значит, их писали апостолы. Апостолы писали — значит, книги святые. Вот и все «доказательство»!

— В Ветхом завете пророк Иезекиил, — ровным голосом, не глядя на класс, продолжает Николай Федорович, — говорит нам о четырех херувимах, что влекли колесницу господню. Один из них имел вид человека, другой — льва, третий — вола, четвертый — орла...

На секунду Николай живо представляет себе эту странную колесницу, думает о том, куда тянул орел, как соразмерялся мерный шаг неторопливого вола со стремительными прыжками льва.

Николай готов усмехнуться, но Троевольский серьезен.

— Эти херувимы, — не смущаясь, продолжает он, — были прообразами четырех евангелистов. Святые отцы приписали Матфею образ человека, Марку — льва, Луке — вола, Иоанну — орла.

Николай смущен. В памяти всплывает виденное в евангелии изображение евангелиста Луки с рогатой воловьей головой на плечах.

— В этом изображении скрыт глубочайший смысл, — неторопливо продолжает Троевольский. — Евангелист Матфей начинает с родословной Иисуса — отсюда и образ человека. Марк рассказывает о проповеди Иоанна Предтечи в пустыне, а ее можно сравнить с рыканием льва. Лука говорит о первосвященнике Захарии, а в его обязанности входило принесение жертв. Жертвой мог быть вол. Вот почему святая церковь присвоила Луке образ вола. Чтобы увидеть благодать божью, надо обладать дальностью зрения орла. Вот почему Иоанну присваивается это имя...

Троевольский не говорит семинаристам, что все эти львы и орлы — всего только отголосок древних религий, когда обожествлялись животные. Он и сам не хочет этого знать, его вполне устраивает приводимое им объяснение.

Но Николаю вспоминается внезапно, как учительница истории показывала им в школе изображения египетского бога мертвых Анубиса с головой шакала и богини Исиды с головой коровы, а рядом с ними в памяти возникает изображение святого духа в виде голубя, Христа — в виде ягненка или святого Христофора — с головой собаки.

Захария мог не вола, а козла приносить в жертву, и пришлось бы Луке ходить с козлиной головой. Чем она хуже песьей головы Христофора?

Не об этом хочется слышать Николаю, а Троевольский уже переходит к рассказу об апокрифических евангелиях, то есть евангелиях, отринутых церковью.

«Значит, полторы тысячи лет назад, — мелькает у Николая мысль, — перед церковью уже стоял вопрос о достоверности евангелий. Решали этот вопрос люди. Кто же может поручиться, что они не ошиблись? Было около ста евангелий, противоречивых, по-разному толкующих события. Большинство из них сожжено, признано ошибочными. Осталось четыре.... тоже противоречивых, тоже излагающих события по-разному...»

В эти дни Николай прочел книгу с тревожащим и страшным заглавием «Жил ли Христос?»

Окончив читать, он сидел потрясенный. Оказывается, самым ранним христианским памятником было «Откровение Иоанна». Но в нем нет ни облика Христа, ни фактов его жизни. Христос изображается там символически — в виде агнца с семью рогами. И ни слова нет здесь о том, что спаситель уже пришел, наоборот — все оно проникнуто страстным ожиданием спасителя и ненавистью к Римской империи.

Послания апостольские тоже не дают облика Христа, ни ссылок на его учение, ни рассказов о его жизни.

Легенды о жизни Христа просто не было в то время, легенда эта еще творилась людьми.

Только через полтора столетия, уже при составлении евангелий, сложился миф о Христе, да и то по-разному. Немало спорили святые отцы, какое евангелие правильное, а какое нет. И только в IV веке договорились, как рисовать Христа на иконах. Значит, чем дальше от времени предполагаемого рождения Христа, тем больше возникает подробностей о нем, его жизни, его внешнем облике: Не странно ли это? В жизни бывает наоборот.

Книжка утверждает, что вся жизнь Христа — выдумка, легенда. Недаром ни о нем, ни о событиях, якобы сопровождающих его смерть (землетрясении, затмении солнца, не говоря уж о воскресении многих умерших), ничего нет в трудах иудейских и римских ученых того времени.

В эти же дни Николай прочел и о возникновении христианства.

Оказывается, зародилось оно вовсе не в Иудее, где должно было бы возникнуть, если бы Христос действительно жил и проповедовал там, если бы с ним действительно совершились все чудеса, о которых рассказывают евангелия.

Возникло оно в Риме.

Непосильно трудно жилось людям в Римской империи. Миллионы разноплеменных рабов, тоскующих по родине, мечтающих о спасении, молящихся разным богам...

Кем бы ни был каждый из них в родной стране — вождем

или поэтом, пахарем или воином, — здесь он был всего только «говорящим орудием». Но и римской черни жилось нелегко. Не приводили к цели разрозненные восстания рабов.

Угнетенные, измученные люди искали спасения в религии. Оставалась одна надежда на чудесного спасителя. А слух, что он придет, все креп.

Так возникла почва для христианства. Но зародилось оно не на пустом месте. Немало сказаний и легенд разных народов сплелось воедино, немало взято у персов, египтян, иудеев и греков для новой религии — христианства.

Даже крест, как символ христианства, и то заимствовали из других религий. Издалека идет его почитание. На изображениях Будды и Митры уже встречается крест. А туда занесен он из языческих времен, когда поклонялись огню и две скрещенные палочки считались священными, потому что от трения их рождалось величайшее чудо тех времен — огонь.

Николай уже третий день ходит под впечатлением прочитанного, он боится поднять голову, ему кажется, что по глазам его можно прочесть, какие страшные сомнения овладели им. За грех Адама и Евы бог проклял всех людей. Так учит церковь. Отсюда их беды: потерян рай, утрачено бессмертие, уделом человека стал тяжелый труд в поте лица. Болезни, нищета, войны — все результат проклятия божьего. А после смерти людей ждут муки ада. И вот бог решает спасти людей, посылает на землю сына своего, чтобы претерпел муки, искупил первородный грех, умерев на кресте. И церковь славит величие божье.

Страшно становится Николаю. Неужели нельзя было иначе? Ведь это опять толкнуло людей на страшный грех: распяли бога...

В новом свете вставали перед Николаем рождение и смерть Христа.

«Странный способ спасения людей, — с какой-то внутренней болью и гневом думал он. — Но пускай он остается на божьей совести. Другое важно: предначертанное богом свершилось. Но почему же произошла осечка, почему ничего не вышло из всей этой хлопотливой затеи? Ничего не изменилось: остались и голод, и болезни, и война. Кого же спас Христос? Что искупил, если все осталось, как было?..»

Нет, он не станет думать о Христе. Он будет думать о евангельских истинах, о самом христианском учении.

И снова садится он за Новый завет.

На каждой странице здесь человек сталкивается с богом, который грозит ему адскими мучениями, и здесь утверждаются страшные кары, геенна огненная и скрежет зубовный.

Николай пытается решить для себя вопрос об аде и рае и еще внимательнее слушает лекции.

«Понимайте ад в духовном смысле», — говорит Троевольский. Но он знает, что евангелие очень ясно утверждает наличие сатаны, ведь есть же в книге сцена, когда сатана соблазняет самого Христа, обещает ему могущество и власть над людьми, если Христос поклонится сатане. Не раз рассказывает Христос своим ученикам о геенне огненной. Нет, не «в духовном смысле», а о совершенно конкретных вещах идет здесь речь, и ничего другого не остается Троевольскому, как твердо заявить:

«Христос не мог быть обманщиком, не мог говорить о том, чему сам не верил. Следует и нам признать истинным учение Христа, что злые духи существуют».

Николай слушает и видит перед собой тайную вечерю, когда Христос, сын божий, подает Иуде хлеб, обмакнув его в соль: «После сего куска сатана вошел в Иуду».

Кто же отвечает за сатану и Иуду, кто отвечает за предательство и измену, если сын божий допускает их — после куска, поданного Христом, сатана вселяется в человека?

Николай пытается думать об учении Христа. Ему говорили, что оно прекрасно и обращено к людям. Но и здесь противоречия. Евангелия то призывают прощать врагам, то учат мстить беспощадно.

Но самое страшное — и этого не может не видеть Николай — заключается в том, что пропитаны они насквозь рабской моралью, учат покорности, терпению, смирению.

Говорила же в свое время Нина Сергеевна, что именно поэтому религия угнетенных оказалась на руку угнетателям.

«Где же выход? — мучительно думается Николаю. — Как примирить непримиримое?»

Отложив книги, он сидит в глубокой задумчивости, из которой выводит его ласковый голос отца ректора.

— Что, Николай, вижу, в смятении душа ваша?

Николай вздрагивает, поднимает на отца ректора взволнованные, полные тоски глаза.

— Пойдемте, побеседуем, — кладет ему на плечо свою руку отец ректор.

И от ласкового тона и дружеского прикосновения руки, а самое главное от того, что отец Михаил угадал и понял его душевное смятение, сердце Николая переполняется благодарностью к нему.

Понял и не осудил. Понял и протянул руку помощи.

Долго беседуют они.

— Люблю я вас, Николай, — говорит ректор. — Хороший из вас священник будет.



От ласкового тона и дружеского прикосновения руки отца Михаила сердце  
Николая переполняется благодарностью к нему.



— Из меня? — ужасается Николай. — Я же не сказал вам о мыслях своих, о своих сомнениях.

— Сомнения преодолеть можно. И вы преодолеете их, я верю в вас, — твердо говорит Радецкий. — Не будем думать о них сейчас. Да, есть в евангелии строчки, которые могут смутить душу, еще не стойкую в вере. Но не о них надо думать. А разве не проникнуто оно высокими идеалами человеколюбия?

Николай и отец ректор ходят по церковному двору. Ближе надвинулся на них темный силуэт церкви, заслоняя небо. Шелестя листвою высокие темные клены. Шаги у отца ректора уверенные, твердые, уверенно и твердо звучит его голос.

— В трудные времена живем, — говорит отец ректор, — слабеет вера. Тем больше, значит, сейчас пастырский подвиг, совершаемый чистой душой. Верю я, что чиста душа ваша, не станете на путь греха. Значит, будет у вас право учить людей правде Христовой и добру. Не думайте о частностях. Решайте главное для себя. Верите ли, что есть господь, благой и всемогущий? Есть неведомая сила, не будем сейчас говорить о воплощении ее, неважно, что иногда она наивно рисуется людьми, — главное, что есть эта высшая сила, создавшая мир, есть высокая мудрость, давшая этому миру непреложные законы, поселившая в душе человека тягу к небу. Верите ли, что добро правит миром и победит зло?

— Верю, — твердо сказал Николай.

— Тогда я спокоен за вас. Не думайте о формах, старайтесь всю душу отдать служению этой великой силе, мудрости, добру, повести за собой людей, а тогда и формы этого служения вас не смутят. Есть вековые традиции, довлеющие над душой человека, и не нам их менять.

Глубже становилась ночь, тревожно шелестела листва, словно отодвинулись небо и звезды, и в этой глубокой ночной тишине каждое слово отца ректора падало в душу Николая, как удар колокола, зовущий в храм господен.

## Глава XI

### ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ

**Н**иколай стал редко бывать в городе — боялся встретиться со Светланой. А когда выходил, то с каким-то внутренним беспокойством подсознательно искал ее, ускорял шаги, увидев похожую на нее девушку, или, наоборот, замедлял их, чтобы не встретиться, не увидеть снова ее гневно-го и презрительного взгляда.



Сегодня он вышел из семинарии один и без всякой цели бродил по городу. В центре автобусы сворачивали на боковые улицы, а по проспекту на бульваре и на тротуарах стеной стояли люди. Оказывается, лучшие физкультурники края несли эстафету.

Загорелые, сильные, они бежали легко, и только опытному глазу было заметно, какое напряжение, какая тренировка стояли за этой внешней легкостью.

Но даже не это, не невольная зависть к другим, сильным, ловким, беспокоила Николая — его занимало иное. Бегунов знали все. В толпе то и дело слышались восклицания:

- Смотри, смотри, как Прошин жмет!
- Сашка не подведет заводских...
- Железнодорожники отстают...
- Трофимов еще покажет, чего стоят железнодорожники!
- Это какой Трофимов? Машинист? Что в газетах писали?

— Конечно. Он и на работе впереди и здесь не подведет.

Чей-то совсем юный голос прокричал:

— Жми, Леша! Жми-и!

Нет, это не толпа — здесь каждый за кого-то волнуется, живет его интересами. Николай чувствовал себя среди этих людей одиноким, как говорила мать — неприкаянным. Вот он стоит в группе юношей, внешне такой же, как и все, но узнай они, кто он, — и окружающие удивленно и холодно отстранятся от него, а может, и просто рассмеются в лицо: ведь жизнь Николая дика и непонятна для них.

И вдруг остро и явственно он вспоминает рыжего Петьку Пороховникова, стремительную, настойчивую Тая, простых деревенских ребят и девчат, окружавших его в школе.

Однажды солнечным ранним утром где-то на грани бабьего лета и настоящей осени, когда поутру вот-вот готов выпасть иней, а днем еще жарко и носится по воздуху последняя серебряная паутинка, они все вместе сажали на пустыре сад. Молодым деревцам предстояло пережить зиму, укрепиться, а по весне покрыться листьями и за лето выбросить одну-две новые ветки. Тая держала яблоньку за тонкий ствол, а он засыпал корневище землей. Сейчас ему почему-то представилось, что не Тая, а Светлана была тогда с ним. Ее тонкие пальцы обняли яблоневого ствола, чуть замерзшие, усталые. Это ее тень падала тогда на землю рядом с ним. Рядом. Как хорошо, когда две тени могут упасть рядом!

Николай судорожно втянул в себя воздух. Показалось, что боль разрастается в груди и сейчас разорвет ее.

Никогда не будет. Не будет дерева, посаженного вместе, тени, упавшей рядом, холодного ясного утра, встреченного вдвоем.

А все-таки он посадил яблоньки. Они растут. Яблоньки девятого «Б». На пустыре за школой.

«Пить хочешь?» — спрашивали его девчата, наливая из ведра в кружку холодную родниковую воду. Светлые капли ее стекали на пожухлую траву.

«Ты, Колька, никак, третью копаешь! Нет, врешь, все равно обгони!» — кричал Петька и нажимал изо всех сил, торопясь догнать его.

А девчата пели высоким голосом: «Летят гуси...» И, словно привлеченная их пением, высоко в осеннем небе пролетела косым парусом навстречу ветру гусиная стая. И они все, бросив работу, махали ей вслед:

«Возвращайтесь! Слышите, возвращайтесь! Ждем весною-ой!»

Стая летела в четком строю. И сама строгость, уверенность и красота их полета были залогом того, что вернутся, прилетят по весне, оставив за собой моря, горы, расстояния. Сумеют найти дорогу назад, в навечно родные края.

Почему сейчас вспомнилось это утро? Может быть, потому, что тем утром был он вместе с товарищами и ничто не разделяло их. Был он тогда счастливым. Усталым и счастливым.

Николай провел рукой по лбу и глазам, словно отгоняя случайное и ненужное видение.

Бегуны уж давно пробежали мимо, а самые горячие болельщики не расходились.

— Все равно Трофимов первый прибежит!

— «Трофимов»! Вы так ахаете, можно подумать — не Трофимов, а Владимир Куц бежит.

Выбравшись из толпы, Николай бредет дальше, ловя обрывки разговоров.

Перед ним новое здание с мощными колоннами, с большими сверкающими стеклами. Библиотека. В свободное время Николай любит заходить сюда. Уже в вестибюле его охватывает особая тишина. По широкой, светлой лестнице он поднимается в читальный зал. Здесь тихо шелестят страницы. Здесь идет неслышная беседа читателей со своими современниками, со своими старшими друзьями из всех веков, с разных концов земли. Здесь Горький говорит свое страстное, горячее слово, возмущаясь свинцовыми мерзостями дореволюционной жизни. Здесь с мягкой улыбкой рассказывает Твардовский о Никите Моргунке, искавшем обетованную страну Муравию. Здесь Шекспир потрясает силой человеческих чувств и задумчиво поет о белой березке Есенин. Здесь Ромен Роллан с мягкой и горькой улыбкой рассказывает о походе на жуков юре Шамая и со всей силой страсти, со всем французским остроумием и изяществом, издеваясь и страдая, рисует жизнь «Острова пингинов» Анатоль Франс.

Здесь есть все. Читать бы и читать, забыв о времени. Но Николаю скоро нужно возвращаться в семинарию. У него осталось сорок минут. Всего сорок.

В просторном зале идет лекция для студентов о перспективах края. Николай сначала равнодушно, потом все больше увлекаясь, слушает о газе, нефти, химии, о размахе строительства, о мощи колхозного строя. А за этим встают люди. Лектор рассказывает о молодежи, о ее труде и дерзаниях, о вкладах в комсомольскую копилку...

«Вклады... — думается Николаю. — Я тоже хочу внести свой вклад. Но вы говорите, мой вклад не нужен?»

Лектор рассказывает о новом канале, который пересечет просторы края, принесет влагу и жизнь на засушливые поля... И звучит в лекции один мотив: люди трудятся для людей, и общий огромный свободный труд народа приближает коммунизм...

Стрелка часов все движется и движется. Николай встает и под негодующими взглядами пробирается к выходу.

Почти сбегал с лестницы. Эстафета уже кончилась, но улицы по-прежнему многолюдны.

Жизнь, огромная кипучая жизнь, идет своим путем, путем мечты и свершений, борьбы и побед.

А Николай Бахарев, только слегка прикоснувшись к ней, одинокий и не нужный никому, бредет обратно в семинарию...

Уже подходя к церкви, он услышал позади себя:

— На лекцию не опоздайте, Бахарев.

Николай оглянулся, узнав голос отца Симеона Новожильцева.

— Не забыли, что сегодня Василий Леонидович читает лекцию «Религия и знания»?

— Помню, отец Симеон.

— А мне показалось, забыли. Идете уж очень неспешно.

Пошли рядом. Пожалуй, меньше всего хотел сейчас Николай видеть отца Симеона и говорить с ним. Владело им какое-то светлое чувство, хотя и смешанное с тоской, а у отца Симеона была удивительная способность вызывать отвращение к людям, к жизни. Несмотря на внешнюю благостность, что-то злобное клокотало в нем. Полный, седой, с холеным лицом, с небольшой аккуратной бородкой, разделенной на две стороны, он неуловимо напоминал Николаю кого-то. Вот и сейчас, идя рядом с ним, Николай думал, где слышал этот глубокий, бархатный, проникновенный голос. Он не казался старческим, а был полон силы. Тихо шелестели рукава и полы рясы при ходьбе, словно были вкрадчивым, свистящим аккомпанементом к словам отца Симеона.

— Где были, Бахарев? — спросил он.

Может быть, в другом настроении Николай просто постарался бы уйти от прямого ответа, но сегодня он был полон тем большим и интересным в жизни, что обычно шло мимо него, и потому не захотел таиться.

— Смотрел на спортивный праздник, слушал лекцию о перспективах края, — ответил он.

Отец Симеон резко обернулся к нему.

— Зачем вам это, Бахарев? Думаете, правду услышите? Твердо знайте: если достижения есть, то по милости божьей.

Странное чувство овладело Николаем, какой-то неясный протест рождался в душе. Показалось, что отец Симеон в чем-то враждебен ему. Почему казалось это, Николай не сознавал.

— Лектор рассказывал о том, сколько делают люди, — резко сказал он.

— Не о людях думайте, Бахарев. О вере Христовой, — укорил отец Симеон. — Господь и гневом своим может образумить людей. Знаете поговорку: «Гром не грянет — мужик не перекрестится». Сейчас что? Войны нет, голода тоже. Живут люди в достатке, вот и скудеет вера Христова.

Николай почувствовал ужас. Он не понял, не осознал, что поразило его в словах священника, но все существо его напряглось. «О чем говорит отец Симеон? Неужели по войне, по голоду тоскует? По войне, которая унесла отца?»

По солнечной улице шли рядом священник и семинарист. Семинарист высокий, худощавый, во взгляде его было и смятение и тоска, на смуглом лице вспыхнул румянец волнения, густые темные брови сошлись к переносью, и резкая складка залегла на лбу. А рядом шагал неторопливой походкой седой священник в черной рясе. Шли два человека: один уже посвятил себя богу, другой только собирался сделать это. Шли по одной дороге. В семинарию. Слушать лекцию «Религия и знание». Но почему так тревожно было семинаристу? Почему так хотелось проложить грань между собой и им?

Такие, как отец Симеон, входили когда-то, шелестя шелковыми рясами, в аристократические салоны. Такие, как он, заседали в Государственной думе.

Гораздо позже узнал Николай его биографию.

В восемнадцатом году каждый решал для себя вопрос, с кем он: с теми ли, кто рвется к свободе, или с теми, кто душит ее.

Тогда и выбрал Симеон Новожильцев свою дорогу. Он не был зеленым юнцом. В двадцать семь лет человек отвечает за свои поступки. Новожильцев знал, чего он хочет. Он эмигрировал в Маньчжурию.

В то время были люди, которые покинули родину, не разобравшись в событиях, эмигрировали по ошибке, руководствуясь личным страхом, а потом горько тосковали по родной земле, жадно ловили вести о ней, искали пути возвращения назад, чтобы в сыновнем порыве поклониться ей до земли и честной жизнью, честным трудом заслужить прощение.

Отец Симеон служил священником в Харбинской епархии. Он заискивал перед японцами и активно помогал им, он надеялся: вражеские армии перейдут границу, оккупируют Дальний Восток и вместе с ними вернется священник Новожильцев.

Он был членом «Союза борьбы с Коминтерном». Человек

без родины, он находился в числе тех, кто готов был отдать родную землю на муки и поругание.

На вопрос: «Ваши политические убеждения?» — твердой рукой Новожильцев писал: «Монархист».

Николаю хотелось скорее распрощаться с отцом Симеоном. Не слушать его проникновенного голоса, шелеста его рясы. Какой-то черной плесенью пахло на Николая от идущего рядом с ним человека.

На лекцию Николай не опоздал. Едва успел он сесть на место, как в аудиторию вошел Василий Леонидович Клепчевский, преподаватель основного богословия.

Николай приготовился слушать. Ему хочется скорее забыть разговор с отцом Симеоном. Лекция, вероятно, поможет ему разобраться во многом. Как он будет счастлив, услышав, что данные науки и религии не противоречат друг другу!

Но не понимает еще Николай хитрости преподавателя, который просто воспользовался тем, что материалисты признают непознанное («Непознаваемого нет, но есть непознанное»), и пытается трудоустроить сюда бога, уверяя своих слушателей, что бог и есть это самое, еще не познанное людьми.

Он взялся за непосильную задачу доказать слушателям, что все крупные ученые были верующими.

Пытливо и недоверчиво смотрит на преподавателя Володя Остапченко. Внимательно слушает Бахарев, стремясь, но еще не в силах понять правду. Благоговейно вздыхает Добылев. Неподвижно сидит любимец владыки Юрий Мигаев. И, считая это признаком заинтересованности, поет-разливается Василий Леонидович. Ему и невдомек, что ни одного слова не слышит хозяйственный Мигаев. Занятый излюбленным делом, он прикидывает, сколько ему потребуется «на первое обзаведение».

Невдомек преподавателю, что благоговейные вздохи Добылева хитрая маска: знаниями не возьмет, так покорностью и кротостью покорит сердца наставников.

Только Николай действительно со вниманием слушает лекцию, обманутый еще раз и стыдясь своих недавних сомнений: ведь преподаватель называет имена, значит, были и есть верующие ученые, как же может сомневаться он, Николай? Просто он еще слишком мало знает!

Слушает и Володя, но для него беседа Клепчевского шита белыми нитками. Он достаточно читал, и подтасовки Василия Леонидовича ему видны невооруженным глазом.

Володя знает, сколько дали труды Ломоносова для подлинной науки. Недаром митрополит Филарет писал, что Ломоносов не заслуживает ни памятника, ни сочувствия церкви.

Пирогов в своем дневнике прямо утверждал: «Религия везде, для всех народов была только уздой, а попы и жрецы помогали затягивать эту узду».

Знает Володя о том, что не раз веротерпимость академика Павлова пытались выдать за его «религиозность». Но разве не Павлов сказал: «Человек должен сам выбросить мысль о боге»?..

Помнит Володя и звонкие, хлесткие, разящие, как пуля, слова французских материалистов о религии, спокойные слова Гёте: «У кого есть наука... тот не нуждается в религии». Вольтер и Байрон, Пушкин и Горький, Менделеев и Тимирязев, Роллан и Драйзер — все они стоят в рядах активных богоборцев, что бы ни пел Клепчевский.

Все они полным огня и силы словом, гениальными трудами своими стоят за науку, против всяческого мракобесия. Они за счастье и свободу на земле. Не рабом божьим видят они человека, а борцом и созидателем.

Все пристальней смотрит Володя на преподавателя. Под его взглядом неловко и беспокойно становится Клепчевскому, все быстрее говорит он, словно с горы летит.

«А не встать ли вот здесь, сейчас, — думается Володе, — да не сказать ли ему и всем святошам словами академика Павлова: «Я сам рационалист до мозга костей и с религией кончил».

Острое чувство радости охватывает Володю: ни сектантом, ни православным не быть ему. Другое, могучее и властное встало перед ним — атеизм.

Ну что же, еще раз придется начать жизнь. Кончено с семинарией. А с Василием Леонидовичем, с отцом ректором и преосвященным Антонием Остапенко будет говорить в полный голос. Он не просто отойдет от религии — он посвятит свою жизнь активной борьбе с ней.

И снова перед Николаем оказался друг, решивший уйти из семинарии, как когда-то Виктор Топоров. Только на этот раз не посчитал Николай богохульством его резкие и горькие слова. На этот раз не повисла в воздухе протянутая рука. Крепко пожал ее Николай и взволнованно, сердечно пожелал Володе:

— Счастливый тебе путь!



## ПОБЕГ ОТ ПРАВДЫ

**О**днажды, еще зимой, Николай получил от матери встревоженное письмо:

«Не знаю, Коленька, как и сказать тебе. Отписала я Андрею Петровичу, что у тебя все слава богу: в семинарии учишься, скоро в батюшки выйдешь. Послала ему привет, супруге, деткам ихним, и Сереже и Ванечке. А он в ответ телеграмму: немедленно подайте мне адрес Николая. Твой, то есть...

Я попервах смолчала: отец Георгий присоветовал. Так Андрей-то Петрович вторую телеграмму прислал, а дней пяток погоды — третью. Ну, тут я, Коленька, раздумалась. Все-таки он тебе дядька родный, отцов брат. Что же от него твои дела скрывать. Не вор ты, не бандит какой, чтобы нам таиться. И тем же часом отписала я деверю, Андрею Петровичу, где ты живешь. Так что, Коленька, жди письма. Ну, а он-то, письма моего не дождавшись, опять мне письмо — хлоп! Уж почтальонша Клаша и то говорит: «Чегой-то к тебе, Семеновна, столько корреспонденции идет? Никак, люди узнали, что у тебя каждая третья корова — рекордистой стала!» А это, Коленька, чистая правда. Уж Вишня в вёрсту с Красной и Лысухой дает молока, да и Ромашку вот-вот раздою. Председатель и то меня поздравлял. А все Таиса Макарова ваша. Заведующей она у нас на ферме, ну, и меня захороводила. А дядька-то твой, Коленька, на меня обижается: «Как это вы, Прасковья Семеновна, такую промашку дали. Да как вы молчали, да почему совета не спросили». И что жизнь твоя покалеченная, пишет, и себя всякими словами обругивает. Так что ты, Коленька, беспременно жди от него письма».

Долго ждать не пришлось. К удивлению Николая, письмо от дяди уместилось на одном листке. Очень сдержанно Андрей Петрович просил Николая объяснить, почему он пошел в семинарию.

Николай ответил, что верит в бога и хочет стать священником, чтобы учить добру и помогать людям освобождаться от грехов.

Ни словом не заикнулся он о своих сомнениях. Их он считал своим, личным делом. Говоря с людьми неверующими, он обычно загонял глубоко в себя колебания и готов был горячо доказывать красоту и правду евангельских истин. Жила в нем какая-то наивная уверенность, что иначе вести себя нельзя.

Тревожно ждал письма.

Прошла неделя... Месяц... Ответа не было.

Наконец он понял: письма не будет. Андрей Петрович просто вычеркнул его из своей жизни. Спокойно и без боли, а может, и с досадой отказался от племянника.

И Николай забудет. Забудет и Андрея Петровича и Светлану. Он сам виноват, что такая сумятица в душе. И зачем он сдружился с Ильей и Виктором, с Сашей и Володей? Их тоже надо забыть!

Ничего! Считанные дни остались до летней практики. Впереди новые впечатления, встречи с новыми людьми. Может быть, Николаю удастся совладать с собой...

Было воскресенье. «Иже херувимы» хор пел благостно, тихо и проникновенно. В дни острой религиозности Николаю казалось, что незримые крылья шелестят над склоненными головами молящихся.... Но сегодня мысли не могли сосредоточиться на молитве. Прямо перед ним стоял вернувшийся в семинарию Василий Нагода. Он уже приложился ко всем иконам и сейчас молился, страстно и даже неистово крестясь, обласканный взглядами старух. О нем-то и думалось Николаю. По-новому обернулась судьба Нагоды. Теперь для наставников это не странный полубольной воспитанник, а человек, на котором почует особая благодать. Однажды из Одессы, где находился в это время патриарх всея Руси, пришла телеграмма: «Благословляю Нагоду учиться в третьем классе. Патриарх Московский и всея Руси».

Заволновались отцы семинарии; как же они ошиблись, исключая Нагоду! А он, оказывается, патриаршее благословение получил. Не разгневался бы святейший!

Отцу ректору начало казаться, что он всегда отличал Нагоду, всегда уважал за глубокую веру. Что же касается исключения... тут ректор невольно разводил руками, не умея объяснить, как мог исключить «любимого» ученика.

Правда, семинаристы объясняли появление Нагоды иначе: узнал, что патриарх в Одессе, махнул туда, зашел на телеграф и сострепал благословение.

Слушок этот дошел и до ректора с инспектором. Решили потихоньку, через верных людей, в патриаршей канцелярии выяснить дело, только осторожно, чтобы патриарх не узнал: вдруг да благословил и разгневается, что сомневались в его патриаршем соизволении.

Слухи оказались верными: сам себя благословил Нагода. Тут отцы семинарии совсем за голову схватились: исключить... А вдруг ошиблись верные люди? Да и Нагода вон как ловок оказался. Исключи его, а он еще какую-нибудь штуку выки-

нет. И что скажешь воспитанникам? Столько раз ставили им в пример благословенного патриархом ученика!

Так и остался Нагода в семинарии. Расцвел. Ходил благостно и неспешно, любому святителю впору, а если речи вел, то только благочестивые. Прямо украшение семинарии...

После обедни Николай, проходя мимо учительской, услышал взволнованный спор.

Раскатистый, басовитый голос настойчиво требовал чего-то, а голос инспектора настойчиво вразумлял:

— В семинарии свои порядки. Мы их не можем и не будем менять по требованию посторонних лиц.

— Да поймите, я за тысячу километров приехал, чтобы его видеть. И я его увижу!

Николай невольно остановился. Чей это голос? Он уже слышал его.

Неужели?.. Не может быть! Значит, приехал?.. А вдруг все это ему только мерещится?

Он уже стоял около двери, готовый рвануться в учительскую, когда Озицкий заметил его.

— Войдите, Бахарев, — сказал инспектор.

Николай переступил порог: Возбуждение сменилось неуверенностью, страхом. Человек, стоящий у стола, резко повернулся. Он был почти седой, но Николай узнал его.

Этот голос, эти светлые глаза, сейчас полные и ожидания и яростного блеска, этот разворот прямых плеч, смуглое лицо с резкими чертами могли принадлежать только одному человеку.

— Дядя Андрей! — выдохнул Николай, весь подавшись к нему.

Андрей Петрович шагнул к Николаю, не обнял, а, взяв за плечи, смотрел на него несколько секунд.

— Вот ты какой стал, Николай Бахарев, — сказал и тотчас же снова повернулся к Озицкому: — Я приехал на несколько дней и должен эти дни провести со своим племянником. Или боитесь на минуту из-под своей опеки выпустить? — Во властном голосе его прозвучали насмешка и вызов: — Возьмите да проверьте силу своего воспитания.

— Что же... — протянул Озицкий. — Придется уступить вашему натиску. — Инспектор был сама вежливость: он не то принял вызов, не то понял, что этот человек не из тех, кто привык отступать.

Озицкий пристально оглядел Николая.

— Вот что, Бахарев, — сказал он обычным суховатым тоном, — если вы считаете нужным, я могу отпустить вас на три дня. Если вы, конечно, этого хотите.

Он выжидающе умолк.

Николай понял: инспектор обрадуется, если он откажется. Вероятно, надо отказаться. Это будет правильно. К чему приводит эта встреча? Что даст? Только горечь и новый разлад в душе.

Николай молчал.

— Так что же, Бахарев, — за безразличием пытаюсь скрыть возрастающую надежду, спросил Озицкий, — нужен вам отпуск?

Николай увидел, как дрогнули брови Андрея Петровича. Голова его сильно поседела, а брови оставались темными, еще больше оттеняя светлые зоркие глаза. Сейчас густые эти брови почти сошлись. И вдруг до боли ясно Николай вспомнил: такие брови были у отца. И его глаза могли становиться такими же напряженными, непримиримыми...

— Нужен, — ответил Николай.

— Так, — сказал Андрей Петрович и коротким этим словом не то точку поставил, не то сбросил с плеч какую-то тяжесть.

Он еще раз хватким взглядом окинул все: и черные рясы в углу на вешалке, и бесстрастное лицо Озицкого, неугасимую лампаду возле иконы, портрет холеного, откормленного Антония с окладистой бородой.

— Идем, Николай! — Андрей Петрович пошел к выходу.

— Бахарев, — негромко позвал Озицкий, когда Андрей Петрович уже был за порогом комнаты.

Николай остановился.

— Я думаю, вы не забудете: сдержанность, скромность и твердость украшают христианина.

— Я помню об этом.

— Надеюсь. — Озицкий говорил, понизив голос. — И еще надеюсь, что доверие семинарии вы не обманете.

— Постараюсь, Дмитрий Петрович.

— Так и передам отцу ректору. Он ведь к вам душевно расположен и надеется на вас.

В совершенном сумбуре мыслей и чувств шагал Николай рядом с Андреем Петровичем.

Идти пришлось недалеко. Андрей Петрович остановился в гостинице.

— Есть будешь? — спросил он, раскладывая на столе заранее припасенную снедь. Но вдруг руки его опустились. С горечью и недоумением глядя на племянника, он сказал: — Колька ты, Колька, да что же ты над собой сделал!

С такой тревогой и обидой мог спросить только близкий, очень близкий человек. Николаю захотелось, сметая все в себе, ломая ту грань, что лежала сейчас между ними, броситься к дяде, прижаться к его груди. Только бы одним движением позвал его Андрей Петрович.

Быстрыми, легкими, несмотря на возраст, шагами Бахарев-старший пересек комнагу — он стоял у окна, опершись на косяк рукой. Дорого бы дал сейчас Николай, чтобы видеть его лицо. Что делать? Как вести себя? Спорить? Доказывать? Или отмалчиваться? Обещать «подумаю»?

Андрей Петрович быстрым, юношеским жестом повернулся к Николаю. «Сейчас он начнет», — понял Николай и как-то внутренне сжался, не то готовясь распрямиться, как пружина, не то глубже уйти в себя.

Слова Андрея Петровича оказались неожиданными, смяли настороженность Николая, дотронулись до самого сокровенного в сердце.

— Ты много знаешь о своем отце? — Он опустил на диван рядом с Николаем.

— Нет... Маленький я был...

— Твой батька вот с таких лет, — Андрей Петрович поднял руку чуть выше стола, — уже батрачил. В те годы, Коля, на селе два богатея было — поп да кулак. От обоих нам солоно приходилось, и отец твой на своей шкуре эту политграмоту узнал. К пятнадцати годам мускулы у твоего батьки в узлы завязались. Захотел однажды хозяин его кнутом перетянуть, схватил Петро кнутовище и так в глаза хозяину глянул, что у того и руки повисли. О ту пору поп во дворе оказался. «Смирись, кричит, господь терпеть велел!» Сказал ему крепкое слово твой отец — и за ворота.

А за ними что? Пыльная улица, околица да тракт далекий. Привел он Петра в Красную Армию. Голодная, разутая... Рубалась с беляками... И он рубался. Такой, как все... Хоть про это слышал?

— Слышал, — негромко откликнулся Николай.

— И вот ведь штука какая! Все время попы стояли за тишину и мир, к покорности призывали. Анафему провозгласили «вору и богоотступнику и обругателю святой церкви Стеньке Разину». Проклинали и Пугачева и революционеров. Властям предержащим, дескать, покоряться надо, а как взяли власть рабочие да крестьяне, так попы же к миру, а к мечу стали призывать. Какое призывать — сами в отряды пошли. У Деникина в армии было около тысячи попов, у Врангеля — пятьсот, а у Колчака — несколько тысяч. Слышал?

— Нет.



Николай понял: разговор уже начат...

— А ты мне вот что скажи. Если бы твой отец в свое время не перехватил кнут в руках у кулака да послушался поповских слов о терпении, может, и не бывать бы ему в Красной Армии! А если бы все Петры да Иваны терпеть продолжали, попов слушались, может, и революции не было бы! И сегодня батрачить бы тебе, батрацкому сыну. Ну, что скажешь?

Николай понял: разговор уже начат, но Андрей Петрович не ждал еще ответа.

— Через три года вернулся твой батька в село. Много их тогда пришло в села и деревни русские. Пришли в обмотках, шинелишках простреленных, кто хромает, у кого к ненастью рука мозжит — кость раздроблена. Отец твой тогда в комбедо управлял. Это уже на моих глазах было. Люди с голоду опухали, мерли, а кулачье в ямах потайных зерно гноило. А рядом с кулачем кто стоял? Всегда рядом... по ту сторону баррикад. Кто?

Николай прикрыл глаза. Он знал, кого назовет дядя Андрей, но неотвратимое слово безжалостно вонзилось ему в уши:

— Поп стоял... Я ведь тебе только об отце твоём рассказываю. Помню, утром должен он был арестованных в район везти, кулака Терентия и попа Прокофия. А накануне у нас вдова двух малолетков задушила — не могла смотреть, как они от голода мучаются, — и на себя руки наложила. Вот Петро и повел в ту хату отца Прокофия. «Гляньте, говорит, да где ваш бог был, когда вы зерно в яму ссыпали. Поди, приходила к вам вдовица с протянутой рукой? И детей приводила? Жизнь их меркой зерна спасти можно было. Меркой... А в ямах тысячи пудов гнили». Надвинулся Петро на попа, а тот руки к небу протянул: «Господь знает, что творит!»

Застонал не Николай, застонал Андрей Петрович, вспомнив брата. Да как же получилось, что сын его оказался по другую сторону баррикад!

— Но ведь религия нужна людям, — тихо сказал Николай. Он вспомнил слова, слышанные в семинарии, и повторил их: — «Душа тянется к богу, как растение к свету».

Андрей Петрович вскочил возмущенный:

— К знаниям, свободе, к счастью тянется человек, а не к богу! «Религия — это вздох угнетенной твари», — это Маркс сказал. Пойми: угнетенной. А Ленин учит, что религия — это род духовной сивухи... — Голос Андрея Петровича звучал резко: — И, пожалуйста, не примазывайтесь к социализму. У вас ведь теперь любят твердить, что Христос, дескать, был первым революционером, ратовал за равенство и братство.

— Но это же правда!

— Нет, ложь! Величайшая ложь! — почти крикнул Андрей Петрович. — Какое там равенство и братство у угнетенного и угнетателя! Нет, революционер не тот, кто слюняво мечтает о свободе, а тот, кто за эту свободу борется, умеет со всей силой и страстью ненавидеть врагов этой свободы и побеждать их.

Губы у Николая дрогнули. Сейчас надо найти какие-то особые слова, чтобы отстоять свое сокровенное, но слов этих не было. Разве эти же мысли, разрозненные и смутные, не появлялись у самого Николая? Разве сейчас, собранные воедино, согреты страстным отношением Андрея Петровича, не разлили они безжалостно и напавал?

Николай отвернулся, чтобы не выдать себя.

— Больно мне, — взволнованно сказал Андрей Петрович. — Сын моего брата... погибшего брата... и вдруг! Не могу я простить себе, как тебя проглядел. Только я и вообразить не мог... Не мог? — вдруг яростно обрушился он на себя. — А разве не видел других верующих среди молодежи? Разве я, коммунист, не отвечаю за них полной мерой? Как могу на бережку сидеть, если они на глазах тонут!..

До поздней ночи говорили они.

Утром Андрей Петрович проснулся рано. Николай еще спал. Он смотрел на племянника, на чистый высокий лоб его, на волнистые густые волосы. Что-то в Николае было от погибшего отца, что-то от самого Андрея Петровича. Сложные чувства уживались сейчас в его груди: все растущая родственная приязнь, острое чувство жалости к Николаю и своей вины перед ним, досады и даже злости. Андрею Петровичу казалось, что за вчерашний день сделал он очень немногое. Не смог он достучаться до души Николая, передать ему свои мысли и чувства. А обязан! Обязан сделать это во имя брата, во имя большой правды, которой живут люди.

Андрей Петрович сходил в буфет, принес чаю, даже подушку на чайник нахлобучил, чтобы не остыл, расставил стаканы, открыл консервы.

— Вставай, Коляш! — ласково позвал он.

От этого уже почти позабытого имени, которым когда-то звал отец, пахнуло родным домом, детством, счастьем.

Завтракали. Андрей Петрович рассказывал о шахте, о рабочих, которых называл душевно «хлопцами».

— Цветов у нас в поселке, Николай! Да что цветы — люди главное. Новые. Честные и чистые, влюбленные в труд. Новичку говорят: «Смотри, как мы живем, иначе жить не позволим». С прошлой осени ни одной драки не было. Милиция наша не у дел. Церкви нет. Обходимся. Никому как-то и в голову не



приходит, что нет. А уголек рубают! Видел бы ты, как он движется потоком! Живой, блестящий, словно кто его маслом смазал. Кажется, черная пена вскипает. Красивая это штука, труд, Коля. Не проклятье, как церковь учит, а счастье. Когда он для людей, свободный, творческий. Счастье и подвиг!

— Не понимаете вы меня! — с каким-то отчаянием сказал Николай. — А я же к хорошему стремлюсь. Священство тоже подвиг.

— Подвиг? — возмутился Андрей Петрович. — Нет, подвиг — это уголь заводам дать, это металл дать на ракету, что в космос летит. Это самому быть готовым к полету. Подвиг панфиловцы совершили, когда на дороге к Москве смертный бой приняли. А ты... Какой же это подвиг — людей от жизни увести, камнем у них на ногах виснуть, да еще и обирать их!

— А в годы войны церковь... — Голос Николая сорвался. Пристально посмотрел на него Андрей Петрович.

— В годы войны... — повторил он. — Церковь многое этими годами старается прикрыть. Не изменили, дескать. Во-первых, немало было и тех, кто изменил, с колокольным звоном фашистов встречали, предавали и продавали. Ладно, лучших возьмем. Чем они помогали? За победу молились? Да ведь весь народ мыслью о победе жил. Попробовали бы они не молиться. Кто бы тогда к ним пошел? Ну, а еще что? Деньги на танки давали? Верно, давали. Только чьи? Свои? Или тех трудящихся, что их в церковь несли? И сколько из этих денег в поповских карманах осело? А какой зато моральный капитал нажили! Нет, церковь здесь не просчиталась!

Андрей Петрович видел, что племянник слушает его внимательно. Не возражает, не пытается спорить, как вчера. Понимает? Должен же он понять самые простые вещи! Как он мог заплутаться среди трех сосен? Ему, старому шахтеру, трудно было поверить, чтобы в наше время молодой человек мог посвятить себя мертвому делу.

Покорное молчание Николая он истолковал по-своему. Положив руку на плечо племянника, Андрей Петрович решительно сказал:

— Вот что, Коляш, ставь точку. Пора. Едем к матери. Захочешь — в колхозе останешься, хочешь — вместе со мной на шахту. Страхни ты с себя всю эту чертовщину, муть. Жизнь-то вот она, — Андрей Петрович разжал пальцы, словно здесь, на ладони, у него и помещалась эта простая и ясная жизнь и он был волен одним движением отдать ее Николаю.

Николай невольно подался вперед, словно замороженный

блеском глаз Андрея Петровича, силой его уверенности, за которой стояла новая для Николая жизнь. Ему стало страшно. Нет! Нет! Его ждет отец ректор. Он дал слово вернуться назад. Надо во что бы то ни стало уйти, и сейчас же, пока не поздно. Еще немного, и он останется здесь навсегда.

Губы его едва разжались:

— Дядя Андрей, мне нужно подумать... Одному побыть...

Андрей Петрович по-своему истолковал его волнение:

— Подумай! Есть о чем! Ты вот что... Ты поди погуляй часок, а потом мы с тобой до конца обо всем потолкуем.

И вот Николай на улице. Уйти, скорее уйти, чтобы новые мысли не настигали его! Казалось, их можно отбросить, оставить позади. Лишь бы только скорее оказаться в привычной обстановке и забыть о встрече с дядей Андреем...

Вот и церковь, вот семинарский двор.

Озицкий поднял на вошедшего глаза.

— Бахарев, вы уже вернулись?

— Дмитрий Петрович, можно мне сегодня... сейчас уехать на практику?

Озицкий медленно пожевал губами.

— Пожалуй, Бахарев, вы приняли мудрое решение. Адрес ваш кому-нибудь сообщать, если спросят?

— Прошу вас, не нужно.

Сборы не заняли и получаса.

Теперь осталось только увидеть отца ректора. Это было необходимо Николаю.

— Благословите меня, отец Михаил, — взволнованно попросил Николай.

— Во имя отца и сына и святого духа! — Ректор размашистым крестом осенил воспитанника, потом положил руки ему на плечи: — Я рад, Николай, за вас. Большое испытание выдержали вы. Теперь я спокоен. Идите к людям. Вы им нужны...

Автобус катит по пыльной дороге. Николай сидит у открытого окна, подставляя разгоряченную голову свежему ветру. Завтра он приедет на место. А с дядей Андреем теперь уж не встретится никогда. Не захочет Андрей Петрович его видеть, не простит обиды. При этой мысли Николаю хочется вскочить, бешено застучать шоферу, чтобы остановил автобус, и со всех ног броситься назад.

Он не сделает этого. Не сделает. Господи, если бы знать, где искать правду и счастье!

За автобусом тянется длинная тяжелая лента желтой пыли...

## ПАСТЫРИ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ

**Н**иколай бежал. Бежал от самого себя, от своих сомнений и колебаний. С дядей Андреем ворвалось к нему что-то большое, нестерпимо обострившее и без того мучительные мысли.

Сомнения! Сомнения! Откуда пришли они и смутили чистоту его веры? Зародил их Виктор Топоров. Может, они сами явились, как только глубже вошел Николай в семинарское бытие? Виноват ли в них Володя Остапченко, не желавший своей лобастой головой принимать ничего на веру? Или Светлана? Или все это вместе взятое — жизнь не давала ему покоя, звала к себе?

Автобус остановился в Минеральных Водах. Здесь была пересадка. Следующий уходил только утром. Пришлось искать ночлега, и Николай пошел к местному дьякону.

Гостеприимный дьякон приветливо встретил семинариста. Любил отец дьякон поговорить и рад был собеседнику, даже бутылку водки на стол поставил. Видно, уже до прихода Николая у дьякона было выпито немало, потому что после третьей рюмки он окончательно опьянел, потянуло его на воспоминания.

— Иду я сегодня по улице, — рассказывал он, держа рюмку на уровне глаз, словно вглядываясь в нее, — а рядом девушка, этак лет пяти, то вперед забежит, то отстанет, а потом как крикнет, да звонко так, на всю улицу: «Мама, я знаю, кто это. Это Робинзон Крузо»... — Дьякон быстро опрокинул рюмку в рот. — Вот и думаю все: Робинзон Крузо. Про него девушка слыхала, а вот про попов в рясе с бородой во всю грудь и не слыхивала. Робинзон... — Он горько усмехнулся и опять налил, потом заговорил быстрым шепотом: — Иногда страшно станет, словно и впрямь я на необитаемом острове, звери вокруг да отец протопоп за Пятницу... А люди-то далеко... И пути к ним нету.

Он резко оборвал себя, но через минуту заговорил снова. Видно, горела в сердце обида на свою жизнь, а пуще всего на самого себя.

— А ведь я артистом был, — с какой-то болезненной усмешкой сказал дьякон; он поднял голову, глядел прищурившись, будто явственно встало перед ним прошлое. — Хвастать не буду, но знали меня. Вызывали бесконечно. Так, бывало, аплодировали, что стены у театра дрожали. — Он умолк, вглядываясь в прозрачную жидкость, словно там, в водке, утону-

ли бывшие счастливые времена. Помолчав, добавил только одно слово, но прозвучала в нем огромная тоска об утраченном: — Любили!..

— Как же вы дьяконом стали? — осторожно спросил Николай, видя, что собеседник погрузился в свои думы.

Разговор странно тревожил его.

Дьякон тряхнул головой и заговорил уже совсем другим тоном:

— Попросили меня, друже, спеть как-то на клиросе. Рванул я... В соборе дело было... Резонанс отличнейший. Ну, бас у меня, ударил в купол, а оттуда в притворы откатился, молящихся, как шатром, накрыл... Кончилась служба, а мне в голубом конвертике — пять сотенных. Если правду тебе сказать, деньги я никогда не копил. Любить люблю, но не собираю. Мы их с приятелями вечером того дня и прикончили... Понравился мне голубой-то конвертик... Уже сам ждал, когда пригласят... — Дьякон одним глотком опорожнил рюмку, крикнул и налил снова. — Опять пригласили: пригляделся... Вот она где, привольная жизнь. И никаких профсоюзов, чтобы тебя обсуждали: пьешь не пьешь, схлестнул налево или нет. Махнул на все рукой и пошел в дьяконы... Да ты чего не пьешь-то? Пей, друже! Самое лучшее лекарство, чтобы думы никакие в башку лохматую не лезли. Лезут, проклятые... А плесни на них водкой — исчезнут... Растают, яко тает воск перед лицом огня...

Сквозь пьяные излияния отчетливо проступала мрачная безысходность. Он уже был пьян, обнимал Николая, называл другом по гроб жизни и вдруг надрывно начал жалеть его:

— Мне что, я актером был, любой костюм на сцене надевал, я и рясу надену, а вот как молодому-то в рясу влезать?

Жалость к судьбе семинариста словно отрезвила дьякона. Наклонившись к самому уху Николая, он неожиданно горячим шепотом произнес:

— Знаешь, Николай, что я тебе скажу: бросай ты это дело, все равно не выдержишь... Совесть не позволит... Она, брат, без зубов, а грызет... Будь здоров!

— А вы?

— Я... Что я!.. — махнул рукой дьякон. — Уже в могиле одной ногой, а тебе при коммунизме жить.

«При коммунизме»? В памяти Николая снова всплыли добрые и требовательные глаза дяди Андрея, его страстные слова: «С чем в коммунизм придешь? С кадилом, с карманами, набитыми тройками да пятерками, что у старух выманил?»

— А вы с чем к коммунизму придете? — спросил Николай дьякона.

— Мне до коммунизма не дожить. Я, брат, на жирный кусок польстился, — голос его неожиданно дрогнул, — проданся! А ты себя пожалей. Ты думаешь, я с чего пью? Я в себе совесть убиваю... Ее раньше прикончу или себя — не знаю. А ты над моими словами поразмысли...

Размышлять! Думать! Дорого бы дал сейчас Николай, чтобы не делать этого, чтобы охватила душу прежняя чистая вера, когда казалось: нет силы, способной смутить ее.

— Что ж, юноша, послужите вере Христовой в нашем благочинии, а мы посмотрим на вас, — испытующе поглядев на Николая, промолвил протоиерей Михаил, Прикумский благочинный.

Он не скрывал настороженного, подозрительного отношения, своего недовольства приездом Николая.

Николаю недолго пришлось ломать себе голову, почему так неприязненно принял его благочинный.

Старик не любил и не умел таить свои мысли и за чаем разоткровенничался. Оказывается, архиепископ на рождественские праздники направил к нему семинариста, чтобы здесь его подучили. После праздников владыка намеревался рукоположить его в сан иерея<sup>1</sup>. Возмущаясь и негодуя, рассказывал благочинный, как заботливо встретили практиканта и каким он оказался неблагодарным.

— Мы учили его всем причтом. Дали бесплатную квартиру, вдовицу благочестивую приставили — убирать и готовить. Выдавали законную дьяконскую часть деньгами и натурой. Жить бы ему да бога благодарить. Но за все это лиходей решил выжить меня, аки старца и немощного, и влезть в приход. Собирал нечестивец втайне баб, прикармливал их. Даже пирожными угощал, чтобы просили о его назначении, — понял, что приход прибыльный, дно золотое.

Но не таков был отец Михаил, чтобы без боя расстаться со своим «золотым дном». Он настроил взволнованное и гневное письмо «деду», как в Прикумском благочинии называют преосвященного. Знал, что услышан будет глас моления его.

— Мы каждогодно в день тезоименитства владыки, — пояснил отец Михаил, возведя очи горé, — посылаем ему две тысячи на поправку владычного здоровья...

Преосвященный убрал практиканта, но и сейчас еще благочинный негодовал от души. Много видел он за свою сорокавосьмилетнюю службу в церкви, изверился в людях, знал, какие тайные пружины двигают священнослужителями.

---

<sup>1</sup> Иерей — священник.

— Погрязли в суете греховной, — вздыхал отец Михаил. — Ну, вот лиходея этого взять. Такие типы сейчас могут быть только в нашем духовном мире. Чего греха таить. Теперь на госслужбе страшно воровать и проделывать разного рода авантюры: сразу за решетку угодишь. У нас же свободное поле действий. Прости нас, господи!

Николая поразила откровенность, с какой благочинный высказывал свои мысли, но, видно, считал он, что перед семинаристом таиться ему нечего. А может быть, старость делала его болтливым. Во всяком случае, говорил он свои страшные истины совершенно в открытую, только изредка добавляя «прости нас, господи» и осеняя себя крестным знамением.

— У меня двадцать три прихода, а в них двести тридцать склок, ссор и прочего. Но я ничего, справляюсь, несмотря на свой возраст.

Разговор прервало появление крохотной внучки благочинного.

Девчушка принесла пучок тонких оструганных планок. Благочинный пересчитал их и достал рублевку из глубокого кармана шелкового подрясника.

— Умница! Пять принесла, получай денежку.

Измятый, грязный рубль перешел из старческой, слегка дрожащей руки в розовую ладошку ребенка. Лаской и любовью сияло лицо благочинного.

Николай ничего не понял из этой сцены, но благочинный сам простодушно, как вполне естественное дело, объяснил ее. Оказывается, отцу протопопу понадобился штакетничек, вот он и приспособил маленькую внучку таскать планки со строительства.

— Огорчается, если меньше пяти принесет, — умиленно усмехнулся благочинный, — а я ей рублик только за пять плачу, пусть считать учится. — Он задержал руку на голове девочки, поглаживая ее волосенки.

Выразительной показалась Николаю эта короткая сцена. Захотелось уйти из этой комнаты, где горела перед иконой неугасимая лампада, уйти от этого седовласого почтенного старца, управляющего двадцатью тремя приходами.

Со следующего утра Николай вступил в исполнение своих обязанностей. Благочинный внимательно приглядывался к практиканту и скоро начал похваливать: читал Николай внятно и с выражением, в свободное время подпевал на клиросе, не забывая в нужный момент войти в алтарь. В юношеском голосе уже появилась бархатистая глубина. Службу Николай знал. Вовремя подавал он нужные возгласы и даже самому отцу протопопу, уже страдавшему старческой забывчивостью,

мог тихим шепотом подсказать, что нужно делать и говорить. Отец протопоп в ответ шептал: «Сам знаю», — но в душе был благодарен заботливому семинаристу. Как-то даже поручил ему проповедь подготовить на слова псалма пятидесятого «Не отвергни меня от лица твоего». Николай через день принес тетрадку с проповедью. Отец протопоп читал ее внимательно и совершенно растрогался, даже на «ты» Николая назвал:

— Чувствую, будешь ты светильником чистым перед престолом господним. Знаний много, и горение в душе есть, только... — протопоп запнулся, но снова решил быть откровенным, — сквозит в словах твоих излишнее смятение души. Больше на милость божию полагайся, он сам тебе мысли подскажет, мудрствуй меньше.

Отец протопоп был доволен практикантом, а пуще всего радовало его, что Николай не предъявлял денежных претензий, довольствовался тем, что выплачивал ему за исполнение обязанностей дьячка и псаломщика церковный совет. «Вот и славно, — думалось отцу протопопу, — нет у человека тяги к богатствам земным, оно и остальному причту неплохо: один меньше берет — другим больше останется».

Отец протопоп уже прикидывал, какую благожелательную и хвалебную характеристику пошлет он в семинарию на практиканта Бахарева.

А между тем повседневный церковный быт пугал и отталкивал Николая.

В первое же воскресенье его практики после обедни разыгралась такая сцена.

— Батюшка, сестра у меня недавно преставилась, — обратилась к настоятелю церкви маленькая дряхлая старушка, утирая слезящиеся глаза. — Помните, отпевали рабу божию Марию?

— Помню, помню, — торопливо и небрежно ответил настоятель.

— Панихидку бы отслужить... — попросила старушка. — За душеньку ее помолиться.

— Дело хорошее, — одобрил священник и тут же назвал такую цену, что старушка явно растерялась.

— Что ты, батюшка! — охнула она. — Где мне такие деньги взять!

Настоятель, не жалея времени, торговался со старушкой; говорил ей об аде и рае, укорял, что мало она заботится о душе своей сестры.

Вконец уничтоженная стыдом и раскаянием, старушка крестилась и плакала.

В церкви шел самый беззастенчивый торг. Николай не смел глаз поднять, ему казалось, что он невольно стал участником постыдного и грязного дела.

Наконец, увидев, что из старушки большего вытянуть нельзя, настоятель подозвал к себе второго священника и небрежно бросил ему, понизив голос:

— Отслужи ей, да не усердствуй особенно, не раскошались бабка.

Нехотя, лениво натянул священник облачение, подозвал Николая подпевать за дьячка. Служил без «благости», глотая концы фраз, лишь бы отделаться от назойливой старухи. На его лице Николай читал сознание собственной правоты, дескать: «Как дают, так и поют». Он просто выполнял дешевый заказ. Не было никакого дела священнику до дум и горестей его прихожанки, и, наверное, потому вместо «господи помилуй» срывалось с его губ непонятное, свистящее «помило-споди».

Встала с колен маленькая, заплаканная, протянула священнику десятку, тот небрежно сунул ее в карман, ни слова утешения не сказал старухе — не заплатила она за эти слова.

Спускаясь с паперти, Николай видел, как худенькая, сгорбленная фигурка медленно брела улицей.

— Погоди, Никола, — услышал он за спиной голос священника, — у нас с тобой еще дело есть.

Николай остановился.

— Дом освящать пойдем, — сказал священник. — Колхозники сейчас строятся. То и дело в новую хату переходят или молодых отделяют. Вон, гляди, целая улица из новых домов выстроилась.

Действительно, по обе стороны тянулись новые дома — три — пять окон. Садов здесь еще не было, через забор виднелись огороды да тоненькие деревца вишен и яблонь, посаженных года два назад. Дома были добротные, с крышами, крытыми то шифером, то желтевшей на солнце черепицей. Вдоль порядка шагали столбы, на эту новую улицу уже пришел свет. На крышах высились антенны.

Священник, идя рядом с Николаем, объяснял, как трудно становится жить духовенству.

— Раньше каждую хату святили, а теперь и думки об этом нет, — говорил он. — Ну, я выход нашел: верного человека подсылаю, чтобы посоветовал освятить новостройку. У нас в церковной двадцатке Сильвестровна такая есть. Не знаю, с придурью или уж религиозна больно, только сны все видит, запросто и с ангелами и с чертями беседе ведет. Вот скажешь ей, будто так, к слову: «А что, Сильвестровна, говорят, Нику-



лины отстроились?» — «Отстроились, батюшка, отстроились». Вздохнешь: «А дом-то и освятить не захотели, беды бы не случилось». Разволнуется — и пулей несется. Как начнет Сильвестровна о нечистой силе рассказывать, любую бабку и страх вгонит. Греховодники! Да как это в неосвященном доме жить! Сюда ему, нечистому, самый ход. Смотри, дескать, как бы скотина падать не начала, детки болеть, хозяину чтобы в делах урона не было... Бабка и давай труса праздновать: а ну, как и вправду заведется в доме нечисть? Скорее святить надо!

Николай искоса поглядывал на своего разговорчивого спутника. Неужели он потому так разоткровенничался, что знает: после практики недалеко и до рукоположения, значит, уже считает Николая целиком за «своего», перед которым таится нечего, вот и делится секретами своего ремесла.

Батюшка, видно, решил взять практиканта под свою опеку, потому что от души давал ему советы:

— Число прихожан надо умножать. Умер кто — самое удобное время для проповеди: в этот момент страх смерти особенно силен, душа в смятении, человек легко поддается внушению. На похоронах и неверующие бывают, а может, в эту минуту и у них душа смутится, и им в сердце слово божие упадет. Крестить ребеночка принесли — тут и внушить родным тревогу за жизнь его, за его судьбу, пусть молятся почаще, а подрастет — в церковь приведут. Заболел кто — напомните родственникам о боге, пусть молятся. Выздоровеет — молитве припишете, а помрет — посетуйте, что молились мало.

Батюшка был в самом благодушном настроении, поэтому говорил с Николаем совершенно откровенно. Впрочем, он и не считал, что говорит что-то особенное.

Этот обман, повседневное запугивание людей стали содержанием его жизни.

— Мы к Манковым идем, — пояснил он. — Хозяин бригадиром в колхозе. Орден имеет. В бога, конечно, не верит, ну, а мать верующая. Никак сначала святить не хотела, сын ей запретил. Раза три к ней Сильвестровна ходила.

— А как же мы идем, — не понял Николай, — если хозяин против?

— Бойтесь, что встретит и с крыльца проводит? — усмехнулся священник. — Не бойтесь. Слет сегодня передовиков. И он там и жена его...

Стыд еще больше овладел Николаем. Значит, они сейчас тайком, ненужные и нежеланные, проникнут в чужой дом, проникнут потому, что Сильвестровна сумела запугать мать хозяина. Николаю хотелось скрыться куда-нибудь, прова-

литься сквозь землю, только бы не идти этой новой улицей к чужому дому.

Но сапожки священника уже поскрипывали на ступеньках крыльца. В дверях стояла еще крепкая старуха.

— Прошу вас, батюшка, поскорее, — сказала она, принимая благословение.

— Иконы-то у вас, по-ди, нету? — неодобрительно покачал головой священник.

— Добыла, батюшка, как же, добыла. У соседки одолжила. Вот и поставим в переднем углу, куда молебен-то идет.

— А у тебя, что же, своей иконы нет? — опять укорил священник.

— Есть, батюшка, маленькая да старая, а эта вроде побольше и поваляжнее.

Священник одел облачение и начал молебен. Николаю было видно, что старуха нет-нет, да посматривает с тревогой в окно.

Ходили по всему дому. Каждый угол кропили святой водой. В комнатах книги, приемник, на стене висят почетные грамоты. Это дом передового колхозника. Николаю все время казалось, что сейчас распахнется дверь, через порог шагнет высокий, широкоплечий человек с орденом на груди, похожий на отца и дядю Андрея. Шагнет и спросит: «Кто вас звал сюда? Как вы смели, незванные, непрошенные, прийти ко мне в дом?»

Пока батюшка, окончив освящение дома, снимал облачение, старуха завернула икону в чистый платок.

— Отдать надо. Ну, вот и ладненько!

Она была явно довольна, то ли тем, что теперь нечистой силе нет доступа в дом, то ли тем, что молебен окончился и никто не помешал. Может, и сын не узнает и не будет говорить: «Стыдно же мне, мама! Когда вы сознательной станете?»



Держа завернутую икону под мышкой, старуха подала батюшке сторублевку.

И снова они идут по новой улице. У недостроенного дома священник останавливается.

— Воронихины тоже дом под крышу подвели, — прикидывает он, но важнее для него сейчас другое: сколько дать Николаю. — Вот худо-бедно, — говорит он, — а мы с вами и заработали малую толику. В суете живем — о мирском мыслим.

— Мне этих денег не нужно, — решительно говорит Николай.

— Бессребреником, значит, хотите прослыть? — насмешливо спрашивает священник. — Ну что ж, каждому свое. — Лицо его озаряется улыбкой. — А я еще одного кабанчика положил купить. Люблю эту животину. И колбаска всякая и окорока закоптить можно. Так и определю: на кабанчика! Только бы матушка по-своему не распорядилась. И чего этих женщин на всякие крепдешины да панбархаты тянет? Урезаю ее, говорю: «Ты же, попадья, духовного звания». А она отвечает: «Что же, духовного, так от моды отставать?» Верите ли, уж здешние портнихи не по ней. В Кисловодск ездит платья шить.

Николай почти не слушал, что он говорит, но ощущение стыда все нарастало. Когда священник свернул к центру, где он жил, Николай, пробормотав что-то на прощанье, продолжал идти все той же улицей. Он не заметил, как улица кончилась и он вышел на проселочную дорогу.

На траве лежала серая пыль. Трещали цикады. Николай свернул с дороги, пошел прямо полем, поднимаясь на взгорье. Ветер трепал кусты серебристого ковыля, чуть в стороне алого несколько полевых маков. Они тоже гнулись на ветру. Их алые лепестки летели по траве. Ветер. И вдруг так захотелось, чтобы ветер окреп, разметал все вокруг. Свежий ветер родных полей. Николай сел на самом гребне холма, обхватил руками колени. Пахло землей, полынью, примешивался к этому медвяный запах клевера.

И вдруг всем существом своим Николай почувствовал одиночество, страшное, давящее одиночество.

На дальних перегонах грохочет поезд. У окна этого поезда стоит дядя Андрей. О чем думает он? Простит ли когда-нибудь Николая за его бегство?..

Закинув руки за голову, Николай ложится на траву. Как тихо вокруг... И какой звонкой в тишине этой кажется песня цикад. Куда уйти от этой песни, заполнившей весь мир вокруг? Куда уйти от своих мыслей?

## «НАСМОТРЕЛИСЬ НА ВАС!»

**М**атушка первая заметила, что семинарист избегает их дома, и отец протопоп укорил Николая за гордость.

— Не чинитесь, молодой человек, — сказал он, беря Николая под руку, — и со стариками посидеть. Пойдемте-ка, протопопица чайком напойт, да и пирожок она сегодня пекла.

За чаем разговор шел о делах благочиния, собственно, говорил один протопоп да матушка изредка вставляла словечко. Николай был занят своими мыслями.

Сегодня он получил письмо от Саши Орешина. Саша писал, что в семинарию больше не вернется. Поступил работать в судовые мастерские, хочет учиться музыке. В письмо была вложена вырезка из газеты «Вечерний Ростов». В статье этой Саша открыто рассказывал, как стал на ложный путь, как мучился, как понял: «Религия от начала до конца — ложь. Проповедовать ее — значит обманывать людей».

«Верующие люди считают, что судьба человека предопределена свыше, — писал он в статье. — Всякое явление, происходящее в жизни, рассматривается ими как неизбежное, предопределенное самим богом, и они убеждены, что человек бессилен изменить божьи предначертания. Если следовать подобным представлениям, то и мой разрыв с религией произошел по воле божией. Но ведь не бог наставил меня на путь истинный? Наоборот, его «наместники на земле» всеми силами старались удержать меня в оковах религии, а действительность — сама жизнь — помогла мне разорвать эти духовные цепи. И как легко сейчас у меня на душе! Это состояние может понять каждый, кто свободен от религиозного дурмана. живет полнокровной, сознательной жизнью.

Я не первый ушел из семинарии. Такие случаи были и раньше. Они будут продолжаться. Среди семинаристов много колеблющихся, и я уверен, что они рано или поздно покинут стены семинарии и только тогда познают настоящее человеческое счастье. Оно — в труде на благо Родины».

Письмо свое Саша заканчивает словами:

«Николай, а что же ты? Все равно уйдешь! И жалко мне тебя, и зло на тебя берет. Чего ты ждешь? Или боишься, что в жизни для тебя нет места? Есть, как другу поверь мне, есть!»

Письмо лежало у Николая в кармане, и дерзкая мысль овладела им: дать прочесть эту вырезку из газеты протопопу.

Распарившийся от жары и чая, раскрасневшийся благо-

чинный сидел в расстегнутом шелковом подряснике, клетчатым огромным платком вытирал пот, струившийся с лица. Над пирогом с малиной неотступно вились осы, мелко дрожа крыльшками. Разомлевшая матушка лениво взмахивала полотенцем, но осы, замороженные малиновым запахом, не улетали.

— И тварь бессловесная знает, где сладко, — начал было философствовать отец протопоп.

Но Николай прервал его, достав газетную вырезку.

Отец протопоп читал, то проборматывая целые абзацы вполголоса, то громогласно прочитывая какую-нибудь строчку. Он не скупился на едкие комментарии.

Матушка то вздыхала, то слабо вскрикивала, с укором поглядывая на семинариста: расстроил-таки чаепитие, а благочинный приходил все в большую ярость.

— Ненавижу! — кипел отец протопоп. — Эти иуды поступают в духовную семинарию, кончают ее, а потом «прозревают». Всенародно каются, отрекаются. Ненавижу!

Он отбросил вырезку. Она не удержалась на конце стола и упала на пол. Отец протопоп вскочил багровый, со сжатыми кулаками, казалось, он готов броситься и растоптать ногами ненавистную статью, а заодно растерзать и ее автора.

Николай наклонился, поднял статью, в упор взглянул на священника.

— А что же делать Саше Орешину, что делать Топорову или Остапченко, если они перестали верить? — негромко, но твердо спросил Николай. — Вы их иудами назвали, а за что? Они никого не предали. Тридцати сребреников не получили. Наоборот, они от обеспеченной жизни ушли.

— Да и не верили они никогда, — закричал отец Михаил. — Это новый способ разложить церковь Христову. Сначала думали «живой церковью», «обновлением» внести раскол — не удалось. Изменились виды «духовного вируса». Новое найдено. Изнутри церковь Христову взрывают.

Николай знал, как выстрадал Топоров свое решение, как мучительно созревало оно в Володе, с каким трудом далось Саше. Прошрое не таяло безболезненно, оно отрывалось с кровью, оставляя в душе раны, которые и сейчас еще кровоточили.

Расходившегося протопопа нелегко было унять, и Николай увидел, как с него слетела маска нарочитой лояльности, увидел, сколько ненависти к сегодняшним дням гнездится в сердце священника, ненависти, готовой вырваться по любому поводу. Знал отец Михаил, что в небольшом Прикумском благочинии открыты и действуют двадцать три церкви, знал, что вволю кормится от них целый штат священнослужителей. Все

знал и все-таки клеветал, как только к этому представилась хоть какая-то возможность.

«Зачем я слушаю все это?» — подумалось Николаю. Он готов был встать и уйти, но в комнате появился еще один человек. Это был церковный староста села Орловки.

Он помолился на образа, принял благословение.

— Новая беда нас постигла, — с горечью сказал вошедший. — Сбежал!

— Кто сбежал? — не понял благочинный.

— Никак, отец Виктор? — ахнула догадливая матушка.

— Он и есть, — зло махнул рукой староста.

— Не пойму что-то никак. Куда отец Виктор сбежал? Зачем сбежал? — нахмурился благочинный.

— Разве я знаю, куда он, стервец, подался! — стукнул староста ладонью по столу.

— Опомнись! О духовном лице говоришь! — возмущился отец протопоп.

— Да не кричите вы на меня! — отмахнулся староста. — А как еще его назвать, если он на три тысячи церковного серебра хапнул?

Протопоп совершенно круглыми глазами смотрел вокруг, матушка медленно крестилась.

— Какие три тысячи? Какое серебро? — с трудом выговаривая слова, спросил благочинный.

— Церковное! Какое еще! Серебряную шкатулку уволок, звездицу, подсвечник и еще кое-что по мелочи. Думали, он с требой куда направился... Смотрим — день нету, два. Суббота подошла. Всенощную надо править — нету. Мы туда-сюда. Глянули в алтарь — ящика исповедного, нету, дарохранительницы. Домой к нему кинулись, а старушка хозяйка говорит: «Съехал, три дни как съехал». Вышел я на амвон, встал перед царскими вратами и говорю: «Так что расходитесь, православные, всенощной сегодня не будет, потому как отец Виктор сбежавши и церковное серебро с собой прихватил». А в церкви-то и без того — знаете, какое положение в нашем селе, — полторы калеки. И те крик подняли: «Да откуда вы таких попов набираете, да как они вас не поворачуют».

Староста рассказывал, прихлебывая налитый матушкой чай, рассказывал подробно, и Николаю показалось даже, что эти подробности он приводит с явным удовольствием.

Благочинный слушал, запустив пальцы в волосы, они упали ему на лицо беспорядочными прядями.

— Что же теперь делать? — наконец вырвалось у него.

— Вот я и говорю: что делать? — подхватил староста, откусив изрядный кусок ароматного пирога. — Собрали мы цер-

ковную двадцатку. Ну, если по-мирскому судить — милицию надо, розыск, и гражданина Темнового Виктора, извините на скором слове, за шкирку взять: не воруй! Ну, а Темновой-то лицо духовное, и опять же мы не просто миряне, а, значит, церковный актив. Ну и решили мы преосвященному по телефону позвонить, как в этом деле разобраться, а он, владыка-то, отвечает: «Пусть бог его осудит за это». Бог, оно конечно... А только, может, все-таки заявить милиции?

Благочинный руками замахал:

— Какая еще милиция? Молчать надо. Лишь бы новый слух про ваше село не пошел. Бог с ним, с серебром! Последних бы прихожан не потерять.

Когда благочинный немного пришел в себя после потрясения от рассказа старосты, мысль его заработала по-деловому.

— Значит, на запоре пока церковь?

— Кому же служить?

— И треб, поди, поднакопилось?

— Требы-то всегда есть: кто померет, кто родится, кто отца с матерью помянуть захочет. Ну, кто помер, ждать попа не станет. А кто родился, окрестить еще можно.

— Вот что, Николай, идите-ка за отцом Алексеем и езжайте вместе со старостой в Орловку, — распорядился благочинный. — Пока владыка пришлет священника, послужите. Там беда большая, не забыл бы народ дорожку-то в храм господень.

Часу не прошло, как Николай со стареньким священником и старостой уже ехали по пыльной петлястой дороге.

Староста нет-нет, и настегивал лошадей, чтобы шибче бежали, хотя рыси у них не прибавлялось. В бричке шуршало пахучее сено. Отец Алексей сидел в серенькой ряске, понурясь, надвинув на глаза выгоревшую соломенную шляпу. Николай пытливо расспрашивал его об Орловке. Староста был откровенен, да и отец Алексей то и дело вставлял свои реплики, и понемногу перед Николаем раскрылась страшная и отвратительная картина событий, происшедших в селе Орловке.

Жил там священник отец Терентий Котов. Выпить любил. Прямо надо сказать, пил богатырски. Пил и не закусывал. Уверял, что врачи ему так советовали: пить только стаканами, а опрокинув стакан, до еды не касаться, разве только корочку хлеба или там луковку понюхать. Под селедочный запах тоже, дескать, хорошо выпить.

Вот однажды, захватив бутылку водки, пришел он к одному из прихожан. У хозяина тоже бутылка нашлась. За третьей послали. Отчего не выпить, если душа просит?

Какое тут домой идти! Заночевал. Утром священник добавил по аппетиту. Глядь, а ногами двинуть не может. Хотел что-то сказать, захрипел, да и умер в одночасье. Так и скончался без покаяния, господь его прости.

Матушка пожелала, чтобы Терентия похоронили благостно, в полном священническом одеянии, с серебряным наперсным крестом, рассказывал староста. Так и сделали. Отпели, похоронили и на поминках добрым словом покойника помянули: умел выпить. И стали нового священника ожидать.

Между тем великая смута овладела умом и сердцем расчетливого владыки: серебряный крест не пустяк, его нужно передать другому священнику. Другого такого креста теперь не достать.

Для недалекого, но исполнительного Добылева было полной неожиданностью, когда его внезапно вместе с другим семинаристом, Мозловым, отправили в село Орловку. Впрочем, он даже обрадовался: на неделю, да вырваться с лекций, а самое главное — подзаработать можно неплохо: первая неделя поста везде доходная, а тут еще церковь такая, где умер священник, служба не правится, треб, наверное, поднакопилось. В общем, ехал Добылев с легким сердцем, не зная о другом, более страшном поручении, которое Мозлов до времени хранил в тайне.

Энергичный Мозлов, уже имевший сан священника, получил от владыки приказ любой ценой в недельный срок выполнить особо важное и секретное задание. Дело Мозлов организовал умело. Когда в церковь пришли заплаканные родственники умершей женщины, то молодой батюшка не стал с ними особенно торговаться, наоборот — проявил всевозможную уступчивость, только поставил неременное условие: покойницу похоронят там, где он укажет.

По распоряжению Мозлова, двое мужчин выкопали могилу настолько впритирку к могиле отца Терентия, что обнажился его гроб. Кому какое дело до того, что происходит в будний день на кладбище? Раз копают могилу — кого-то похоронят. И, конечно, никому не пришло в голову, что под прикрытием похорон готовится ограбление другой могилы, надругательство над другим покойником, что священники явились грабить священника.

Между тем покойницу принесли в церковь. Мозлов уже облачился в священнические ризы. Готовился и Добылев исполнять обязанности псаломщика. Но Мозлов увел его в церковную сторожку, и там оторопевший Добылев получил категорический приказ: вскрыть гроб и снять крест.

Как удар грома, прозвучала для него эта команда. Волну-



ясь, сбиваясь, пытался отказываться. Мозлов не мог тратить времени на длинные разговоры: в распоряжении оставались считанные минуты.

— Вы думаете, владыка простит, если его воля не будет выполнена? — решительно нажал он на Добылева. — Вы в семинарии на волоске... Если будете колебаться, я доложу владыке. Знаете, чем это пахнет? Сана священнического не увидите. Действуйте, а я отпевание подзатяну.

Широким шагом как ни в чем не бывало Мозлов направился в церковь. Сейчас заструятся над покойницей голубоватые клубы ладана, загорятся свечи в руках родственников, раздадутся слова о царствии божием: «иде же несть печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Благостно, неторопливо исполняет обряд отпевания батюшка, и не дрогнет его голос. Все мирно и тихо под сводами храма.

А Добылев тем временем, озираясь, шел по кладбищу мимо могил, покой которых не тревожила ничья дерзкая рука. Все было обычным: и серые покосившиеся кресты, и побеленные гробнички, и кладбищенская грязь, что налипала к сапогам и делала их пудовыми.

Все было обычным, кроме черной пасти могилы, разверстой впереди, кроме обнаженного в ее глубине гроба отца Терентия. Вот и рыхлая насыпь, и предусмотрительно забытые здесь лом и лопата. Все время кажется, что позади кто-то идет. Нет, это просто гулко и тревожно бьется сердце. Кладбище пустынно, и никто не может помешать ограблению.

Добылев спрыгнул в могилу. Хлюпнула скопившаяся на дне се вода. Торопливо схватил лопату, засунул под крышку гроба. Нажал. Гвозди держали крепко.

— Господи, господи, помоги рабу твоему! — торопливо перекрестился семинарист.

Наконец крышка гроба поднялась. Добылев торопливо начал шарить по груди покойника.

— Господи, господи! — трясущимися губами шептал он, пытаясь сдернуть крест.

И вот крест в его руках. Торопливо сунул его в карман, захлопнул крышку. Дышал тяжело и порывисто, словно пришлось мчаться в гору. Не сразу выбрался из глубокой могилы. Карабкался, топчась грязными сапогами по гробу.

Растрепанный, перепачканный, в липком поту, он почти бежал по кладбищу и невольно привлек к себе внимание двух встречающих мужчин.

— Эй, ты чего здесь делал? — окликнули его.

— Да вот... крест доставал... — пробормотал Добылев и бросился дальше.

Добылев поспел к церкви в ту минуту, когда траурная процессия выходила из дверей. Растерзанный и взволнованный вид Добылева подсказал Мозлову, что дело сделано. Удовлетворенно кивнув головой, неторопливо вел он службу у открытой могилы. Все в порядке — владыка будет доволен.

Николай и раньше слышал об этой истории. Немало толковали о потревоженной и ограбленной могиле отца Терентия в семинарии.

Дошла весть о ней и до высоких церковных чинов.

Присланный патриархом всея Руси для проверки фактов архимандрит вынужден был признать в своем донесении:

«Изъятие иерейского креста из гроба священника Терентия Котова имело место... Когда об этом узнал архиепископ Антоний в ближайшее время после этого плачевного события, он никак не реагировал и не наказал совершителей дерзостей и кощунства. Он тоже говорил, что кресты необходимы для новых ставленников».

Не все донес патриарху архимандрит. «Совершители дерзостей и кощунства» Мозлов и Добылев не проиграли: выполнив беспрекословно волю владыки, они получили «хлебные» приходы.

Думали пастыри, что сделали все тихо, а по селу поползли нехорошие слухи. Многие из верующих сочли себя оскорбленными.

Но злоключения верующих села Орловки на этом не кончились. Прибыл новый пастырь — Желяровский. Тот самый, что был известен в семинарии как гуляка и наушник, тот самый, что ради скорейшего получения сана обманом женился и немедленно бросил жену.

Высокий, представительный батюшка совершал службу по всем правилам, неторопливо. Чуть прихрамывая, обходил церковь, усердно кадя иконам. И верующим казалось, что уж теперь-то все пойдет как надо: приживется священник в селе, будет совершать требы, говорить проповеди, заботиться о церковном благолепии.

Но скверно получилось. Недолго пробыл Желяровский батюшкой. С глубоким возмущением смотрели прихожане на своего «пастыря», сидящего на скамье подсудимых за страшное, грязное преступление. Суд приговорил его к двадцати годам тюремного заключения.

— А теперь обратно незадача, — безнадежно махнул рукой староста. — Скажи ты, чего этому Виктору не хватало. Приход у нас не из бедных. Так он, прости меня боже, бандюга, церкву обворовал и сбежал неизвестно куда. Ну, не пако-

стник ли? Безбожники, само собой, не дремлют. Уже в московской «Правде» Орловку расписали, как нам с батюшками не везет. Складно так пропесочили. Ну, и среди прихожан разговоры всякие идут... Вот наказание божье!..

...Под ногами лошадей бежит серая дорога. Замолчал староста, дремлет отец Алексей, молчит и Николай в тяжелом раздумье.

Вот и околица села. У грузовика, откинув капот мотора, возятся трое парней, ровесники Николая. Завидев мерно трусящих лошадей, они выпрямились. Подвода поравнялась с машиной, и тут Николая обожгли полные презрения и неприязни взгляды, которыми окидывали их парни.

— Еще один поп катит!

— Ну, этот уже беспреренно бандитом станет.

— Тогда коллекция полная.

— Больно старый для бандита.

— А молодой-то чего с ними?

— Тоже попенюк, наверное!

— Думают, еще дураки не повывелись...

— Моя бабка и та вчера говорит...

Но что говорила бабка, Николай не услышал. Машина осталась позади, а подвода уже въезжала в село. Староста повернул к седокам огорченное лицо и засуетился, даже сено зачем-то стал сгребать, чтобы батюшке и семинаристу удобнее было сидеть, хотя прекрасно знал, что через несколько минут дороге конец.

— Вы их не слушайте. Не слушайте, и всё. Народ у нас отчаюга. — Неожиданно лицо старосты осветилось улыбкой. — А высокий-то этот мне вроде племяша. Венькой зовут. Он, между прочим, чабан. Первый в колхозе, хоть и молодой. Деды по четыре кило шерсти взяли, а Венька — по шести. Портрет в газете был. А в церкву, конечно, ни ногой и со мной не здоровается. «Ты, говорит, нашу трудовую семейству позоришь, с тунеядцами спутался». Это он про попов, значит...

Отец Алексей поморщился:

— Ну, и говорлив ты, Иваныч!.. Все, что надо и не надо, несешь...

Поздним вечером Николай лежал в отведенной ему боковушке. Окно было распахнуто настежь. В небе горели звезды, откуда-то издали доносились звуки баяна, возникала и сейчас же обрывалась задорная мелодия, сменяемая взрывами смеха. Наверное, пели частушки. Потом музыка и смех стали громче. Вот и слова можно разобрать. Молодежь приближалась.

Николай внутренне сжался. Ему казалось, они знают, что

он здесь, притаился в ночной глубине, и сейчас у него под окном возникнет разящая наповал частушка, взорвется в мозгу, обожжет сердце.

Но у молодежи были свои дела и заботы, а потому и пели они о трактористе Васе, проспавшем смену, о звоне девчат, у которых «бурьяны вымахали с пальму», а потом девичий высокий голос завел:

С неба звездочка скатилась  
И упала за селом.  
Я, девчоночка, влюбилась,  
И душа горит огнем...

Не услышал Николай частушек, которых боялся, но почему же так тревожно и так взволнованно на душе, почему вдруг так захотелось увидеть ему и эту девушку с высоким, ломким голосом, что спела про звездочку, упавшую за селом, и засоню Васю, и баяниста, что так скромно, не вылезая вперед, вел мелодию за девичьими голосами, а уж в конце частушки давал себе волю, приглашая посмотреть, какая ладная песня спета, словно хотел сделать из музыки достойную рамку для слов, то ласковых, то чуточку грустных, то насмешливых и едких, то удивленно-радостных.

Вечером следующего дня Николай с отцом Алексеем пришли в церковь. Она была почти пуста. Лишь у стен жалось пять-шесть старушек.

— Ну люди же! — возмущенно сказал староста. — У нас на паперти все калечка такая сидела. Иду, она у базарчика пристроилась. Говорю ей, служба сегодня в церкви, новый батюшка приехал, а она, дура, отвечает: «Мне и здесь ладно. Здесь людей-то поболее». А насчет крестин не сомневайтесь, завтра двое просилось.

Отец Алексей растерянно смотрел на Николая, словно спрашивал, начинать ли службу. Потом стал надевать облачение.

Странно шла эта служба. Николаю вспомнилось любимое им в детстве стихотворение «Бэда-проповедник». Мальчишка-поводырь завел слепого проповедника в пустынное место. Слепой начал проповедь, а когда кончил, «аминь» ему грянули камни в ответ.

Голос отца Алексея звучал приглушенно, словно священник страшился дать его в полную силу, словно сама пустота, наваливаясь со всех сторон, гасила звук.

Николай читал псалтырь, но и ему было неловко, хотелось, чтобы странная эта служба почти без прихожан скорее кончилась.

Двери на паперть были открыты настежь, на каменных

ступенях, накаленных за день солнцем, толкались ребятишки, заглядывая внутрь пустой церкви, где три человека ходили, пели, говорили, где открывались и закрывались царские врата, ведущие в алтарь, где священник в полотняной ризе с нашитыми на ней крестами вздевал руки вверх.

Ребятишек не столько интересовала служба, сколько новость: в село снова приехал поп, еще один поп, а последние дни здесь немало ядовитых слов было сказано в поповский адрес.

К концу службы, впрочем, собралось человек десять прихожан.

После всенощной отец Алексей спрашивал старосту:

— Ну ладно, Иваныч. Есть же у вас церковная двадцатка? Так и двадцати человек в церкви не было.

Староста вскинул на него глаза:

— Так где же она, двадцатка-то, отец Алексей? Разбежалась двадцатка-то... Вот они дела-то какие. Может, снова сколотим какую ни есть.

Оставшись вдвоем с Николаем, священник долго молчал, отдавшись своим невеселым думам. Смеркалось, огня не зажигали. Николаю уже начало тяготить это молчание, когда священник тихо заговорил:

— Слышал я, безбожники говорят, было такое время, когда религии не было. Правда это или нет, не знаю. Ничего уж теперь не знаю. А вот, думаю, такое придет, когда ее не станет...

— Религии не станет? — в тревоге переспросил Николай.

— Что, благочинному расскажете? — насторожился священник. — Рассказывайте, разрешаю. Я в жизни всякое видел.

— Зачем вы так... — Голос Николая прервался от обиды.

— Не знаю сам, чего говорю, зачем на человека кинулся, напраслину подумал. — Голос священника звучал устало и горько. — Другое мучит: зачем мы людям? Вот жил всю жизнь по правде. Домика и того не приобрел. Семьи нету. Деньги, какие были, бедным раздавал, жил, думал — для людей... А выходит, не нужен им был... Вот и страшно такое под старость-то узнать. Впрочем, чего же это я говорю, — спохватился священник. — Зачем веру вашу смущаю! Простите меня... Спать надо ложиться. Утро вечера мудренее.

Николай слышал, как отец Алексей, походив немного, улегся спать в соседней комнате, как вздохнул несколько раз, словно пытаясь сбросить гнетущее чувство, владевшее им, и наконец затих.

Отчетливо ясным стало тиканье ходиков. В сенцах из умы-

вальника капала вода, и падение каждой капли было гулким в тишине.

В комнате, где спал отец Алексей, было совершенно тихо. Но Николаю казалось, что священник не спит. Разве заснешь, если понял на склоне лет, что все, чем жил, не нужно и враждебно людям, если оказался в пустоте, которая давит со всех сторон, душит.

Николай встал у двери.

— Отец Алексей, — тихо спросил он, — а как же жить, что делать?

Темнота молчала, но Николай был уверен — священник слышал его вопрос, да, видно, не знал на него ответа, потому и смолчал.

Наутро староста, встретив их во дворе, испытующе поглядывал на обоих, не то посмеиваясь, не то пытаясь скрыть свое смущение.

— А может, не ходить бы нам в церковь-то? Обойдется и так.

Священник растерянно взглянул на него:

— Как это — обойдется? День сегодня воскресный.

— То-то и оно, что воскресный, — неопределенно пожал плечами староста. — Люди-то на отдыхе.

— Глупости вы какие-то говорите! — рассердился отец Алексей.

— Ну ладно, только я не пойду. Неможется мне что-то, — мялся староста. — Ключи я вам отдам.

— Вот что, Иваныч, давайте начистоту. Чего испугались?

— Да ничего я не боюсь. Только ни к чему мне. У меня вон пасека своя, уликов десяток. Я в пчелах-то, значит, понимаю. Мне и то Венька говорит: «Шел бы ты пчеловодом в колхоз».

Николай не мог понять, какая связь между пасекой, болезнью старосты и воскресным днем, но священник, видимо, понял, шагнул к старосте.

— Давайте ключи, — сказал он.

Невысокий, сухощавый, он уверенной рукой взял связку, сунул в карман.

— Не ходили бы, — с тоской повторил староста. — Слышал я, Венька людей баламутит. Мать на свою сторону перетянул. Она у нас, значит, в двадцатке была. Может, новую двадцатку сколотим, а пока... — Он безнадежно махнул рукой.

— Идемте, Николай, — сказал священник, отстранив рукой старосту.

Подходя к церкви, увидели вокруг нее много празднично разодетого народа.

— Видите, — обрадовался священник, — ждут! Нас ждут.

Николай тоже понял: ждали их. Но иначе, чем думалось. Люди шумели глухо, враждебно.

Из общего шума вырывались отдельные голоса.

— Уехали бы вы! — крикнула пожилая женщина.

— Верно, мать, — одобрил чей-то голос со стороны.

Николай оглянулся. В отдалении стояла группа молодежи во главе с Венькой.

— Насмотрелись мы на вас! — снова крикнула женщина.

— Не обманете больше!

— И церковь прикроем! — раздались выкрики справа и слева.

Лицо отца Алексея побледнело.

— Нет у вас такого права, — твердо сказал он. — Церковь — дело верующих. И открыть ее и закрыть только по их просьбе можно. — Голос его звучал уже внушительно. — Так что, граждане, прошу вас в наши церковные дела не вмешиваться.

Зашумели.

— Верующих? — выступила вперед та же самая пожилая женщина, и Николаю подумалось, что это, наверное, она родственница старосты и мать Веньки. — А вот мы и есть верующие!

— Погоди, Степановна, — отстранил ее высокий старик с острыми, зоркими глазами. — Я вот им без обиды разъясню: они, конечно, приехавши, может, издалека, о колхозе нашем не слышаны, а мы вроде по-настоящему жить хотим. И в колхозе своем уверены. От науки, опять же, кроме пользы, ничего не видим. Урожай-то, если по всей научности, — ого, какой себя показывает! Вчера вон широкоэкранный кино смотрели, и насчет сотворения мира по-новому понимаем. Про ракеты и спутники тоже слышаны в полном объеме. И выходит, бог-то от всего этого в стороне стоит. Вроде на пенсию ему пора. Только на пенсию трудящихся провожают, а он опять же царь небесный. Ну, царям-то у нас пенсия не положена. Царей-то у нас... — Он энергичным жестом показал, какая участь постигла царей. — Научные люди давно разобрались. Научные-то себе худа тоже не хотят. Был бы бог, так неужто к нему не притулились бы?

— Вот это разъяснил!

— Это, значит, без обиды!

— А молодой-то кто, без рясы который? — жадно добивался женский голос.

— Семинарист, говорят.

— Семинари-ист! Это не он к отцу Терентию-то в могилу лазил?



— Не он! Тот маленький, лупатенький такой был.

Вопросы эти перенесли все внимание на Николая.

— Чего же ты, парень, думаешь? Шел бы работать!

— Жирной да пьяной поповской жизни захотел!

— Чего напали на парня? Он, может, не такой. Попы тоже всякие бывают.

— Не такой, так станет таким.

— Ты, парень, слухай, чего народ говорит, ты перед народом совесть имей!

Добравшись до дому, отец Алексей упал головой на руки. Плечи его тряслись от слез. Николай поил его водой, стакан прыгал в руке старика.

Чуть успокоившись, он сидел, сгорбленный, уставив глаза в одну точку:

— Что же делать? Куда пойти? Что я могу? Не отречься же. Скажут тогда — обманывал. Всю жизнь свою зачеркнуть? Нету на это сил! Нет уж, как жил, так и дни свои кончать буду.



Староста внес бутылку водки.

— Выпьемте, батюшка.

Николай решительно отодвинул стакан, а два человека за столом наливали, чокались и снова наливали, словно хотели заглушить в себе что-то живое, рвущееся наружу.

И снова плакал старик, теперь уже пьяными слезами:

— Где моя жизнь, Иваныч? На что ушла?

Тяжко и гулко стучало сердце в груди Николая, на плечи навалилась непосильная тяжесть. Отец ректор к людям его посылал, уверял, что он нужен им. Оказалось, труд его матери, доярки, нужен, а труд ее сына нет. И трудом-то его люди назвать не хотят.

К Николаю тянутся две руки со стаканами водки.

— Выпьем.

— И господь вкушал... И апостолы святые...

Что же? Может, это только и остается ему? Плыть по течению и заливать тревожные мысли водкой? Ведь отец Алексей тоже не пьяница. С горя сегодня пьет.

Николай встает. Есть один человек, который может поставить все на место, которому он верит. Этот человек — отец ректор. Если все, чему учил отец Михаил, правда, то пусть поможет утвердиться ей в сердце.

А если ложь?

## Глава XV

### ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ

**Н**а автобусной остановке в Пятигорске Николай около книжного киоска столкнулся с двумя семинаристами. — Есть у вас книжка Остапченко? — негромко спросил Юрий Мигаев, загородив собой все окошечко.

— Какая книжка? Володина? — не понял Николай.

— Тише вы! — остановил его Алексей, оглядываясь по сторонам. — Отойдем, я все объясню.

— Есть! Как хорошо! — обрадованно воскликнул Юрий, услышав ответ продавца. — Только восемь штук? Нет, все, пожалуйста, дайте!

Ничего не понимая, Николай пошел за ними. Остановились неподалеку в сквере.

Белая пухлая рука Юрия, уже сейчас похожая на холеную руку священника, сжимала пачку тоненьких брошюр. Николай увидел на цветной обложке размашистую белую надпись: «Почему я порвал с религией».

Вот оно что! Володя написал о своем уходе из семинарии. Николай хотел взять у Юрия одну из книжечек, но Юрий злобно покосился на него.

— А вот читать ее совсем не обязательно. Впрочем, вам, наверное, сам автор подарит. Вы, кажется, друзьями были, если не единомышленниками.

Белые пальцы Юрия смяли одну из книжек и вдруг решительным движением начали рвать ее на клочки. Бумага не поддавалась. Юрий торопливо и злобно вырывал отдельные страницы, мял и комкал их. Алексей деловито и спокойно помогал ему.

— Что вы делаете? — не понял Николай. Он оглянулся вокруг, словно надеясь на помощь, но никого поблизости не было.

Обрывки страниц летели в урну. Один из смятых клочков упал на землю. Николай поднял его, разгладил. Глаза быстро бежали по строчкам.

«Я становлюсь в ряды активных атеистов и буду неустанно разоблачать существо религиозного дурмана. Я пришел на Ставропольский завод поршневых колец, чтобы честно трудиться в рабочей семье и своим трудом заслужить доверие рабочего коллектива...»

На этом текст обрывался. Вот она, новая встреча с Володей.

— Вы не смеете! — крикнул Николай.

— А мы по распоряжению отца ректора действуем, — спокойно заявил Алексей.

— Вы что же, Бахарев, считаете распоряжения отца ректора неправильными? — насмешливо спросил Юрий.

— Неправда! Не мог отец ректор дать такое распоряжение.

— А вот дал, — пожал плечами Алексей.

— Это что же... Уничтожить, чтобы люди не узнали правды? — бледнея, спросил Николай.

— Правда? — Рысьи глаза Юрия жадно прилипли к лицу Николая. — Вы что же, заодно с ним изволите быть?

— Отец ректор сказал: «Остапченко для нас не существует. Остапченко мы считаем мертвым». — Алексей засмеялся. — А какое мы Остапченко отпевание устроили! Только вместо «Со святыми упокой» пели «Поскорее упокой».

И вдруг негодование сменилось в душе Николая совсем другим чувством: ему стало жаль этих молодых людей, которые стояли сейчас перед ним.

— Послушайте, что я скажу вам, — взволнованно начал Николай. — Вот сядем здесь. Вы поймете...

— Послушать я всегда готов, — усмехнулся Юрий, опускаясь на скамью.

— А может, позавтракаем, братцы? — попытался соблазнить Алексей, поглядывая на вывеску «Кафе-закусочная». — Оно бы во благовремении было.

— Нет, нет! — перебил его Николай.

Ему казалось, что он сумеет донести до их сердца все свои тревоги. Торопливо и взволнованно Николай рассказывал им о злоключениях верующих села Орловки, о службе в пустом храме, о слезах отца Алексея. Ему казалось, что рассказ его заставит задуматься, будет страшным и горьким. Кончив, он сидел потрясенный, словно пережил все еще раз.

На плечо ему опустилась рука Алексея.

— Не горюйте, Бахарев, на наш век прихожан хватит. Вот я в Благодарненском приходе был. Отец Никифор там как сыр в масле катается. Преосвященный ему разрешил из церковной кассы взять восемь тысяч.

— Отец Никифор? — обернулся к нему Николай. — Это тот самый, участник Минского автокефального собора?

— Ну да, конечно, тот самый, — совершенно спокойно ответил Алексей.

— И вы спокойны?! И его владыка опекает?!

— А чего тут особенного! — опять пожал плечами Алексей. — Что было, то прошло и быльем поросло...

— Собор этот посылал телеграмму Гитлеру с приветствием и благодарностью за «освобождение Белоруссии от безбожников большевиков». Это же было сборище предателей народа. Оккупантам прислуживали...

— Да вам-то что до этого, Бахарев? — удивился Алексей.

— Мне? — Николай даже задохнулся от возмущения, но постарался взять себя в руки, заговорил очень медленно: — Удивляюсь, понять не могу, почему не лишили таких, как Никифор, сана, не провозгласили изменникам анафемы с амвона всех церквей.

— Нет, что же это такое! — заволновался Алексей. — Пойдемте, Юрий. Бахарев бог знает, что говорит!

— Нет, погодите! — остановил его Николай. — Вы же знаете, что у нас в епархии покойного отца Николая Польскова чуть не в святые прочат... А я вот совсем недавно узнал, что это за «святой». В дни оккупации по городу носились серые машины-душегубки, слышались предсмертные крики и стоны. На старом аэродроме трещали немецкие автоматы, падали в ямы кровавые трупы стариков, женщин, детей. А в это время отец Николай служил благодарственные молебны, обманом собирал теплые вещи для «зимней помощи» фашистам...

— Может быть, довольно, Бахарев? — попытался остановить его Юрий.

— Мог ли не знать всего этого владыка? Не мог. Так ответьте мне, почему он отцу Никифору восемь тысяч подарил? Имя отца Николая окружил почетом?

— Да что это? Что? — Алексей чуть не плакал, поглядывая то на Николая, взволнованного, негодующего, то на бледного, насторожившегося Юрия.

Юрий встал.

— Идемте, Алексей! — распорядился он и обернулся к Николаю. Голос его стал очень тихим и даже вкрадчивым. — А ваши настроения, Бахарев, должны стать известными...

— ...семинарскому начальству? — перебил его Николай. — Станут!

— Жаль, что сейчас я домой, а не в семинарию еду, — посетовал Юрий.

— Я свои настроения скрывать не стану! — Николай увидел на узком лице Юрия и страх и ненависть.

Пускай! Пусть будут и страх и ненависть. Значит, есть в его словах и сила и правда!

Он откинулся на спинку скамьи. В высоком голубом небе скользили легкие облака. Шорох удаляющихся шагов подсказал, что он остался один.

Он оглянулся. Вдали торопливо шагал, словно убегая от него, Юрий. Нелёпым и ненужным пятном казался он на летней, залитой солнцем улице в своей черной суконной форме, широкополой шляпе, с рыжеватыми волосами до плеч. За ним, переваливаясь, поспешал Алексей, нет-нет, да и оглядываясь назад.

Сидя в автобусе, Николай, занятый своими мыслями, не смотрел в окно, хотя в поездках любил видеть, как бегут навстречу деревца, посаженные вдоль дороги, как идет работа на бескрайних полях, как прокладывают новую линию газопровода.

Изорванная в клочки книга Володи Остапченко, написанная для людей, изверившийся в правоте своей жизни отец Алексей и награжденный владыкой отец Никифор — все это вставало в один ряд.

Прошлое стало ненавистным, будущее казалось неясным и, пожалуй, все-таки страшило Николая. Слишком оторвался он от жизни и совсем не знал, какую же дорогу может выбрать для себя. За плечами только усталость и разочарование. Неужели все, чем жил он, — обман, ложь, лицемерие? Дело не в каких-то отдельных хороших или плохих людях. Дело

в самой религии. Выходит, что религия не только не нужна людям, а вредна им! Захотелось как можно скорее увидеть отца ректора, поговорить с ним.

Снова перед ним архиерейское подворье, но входит в двери семинарии не доверчивый и робкий мальчик, а смятенный и взволнованный, многое понявший человек.

Уже поздно. В семинарии никого нет, только в учительской сидит инспектор.

— Бахарев? — удивленно спросил он. — Рано же вы вернулись... Впрочем, это кстати. — Он пристально и озабоченно вглядывается в лицо Николая и все-таки, занятый своими заботами, не замечает его волнения.

— Вы, кажется, родились в селе, знаете там многих.

— Знаю, — ответил Николай; его очень удивляет разговорчивость обычно молчаливого инспектора.

— Хорошо! Очень хорошо! — обрадовался инспектор. — Вероятно, у вас в селе найдутся желающие поступить в семинарию. Напишите письма. Если хотите, поезжайте. Мы оплатим проезд. — Голос инспектора дрогнул. — Набор срывается в этом году. Все эти уходы... Отречения... Книга Остапченко... Подано было всего семь заявлений, трое взяли свои заявления обратно. Мы написали во все семинарии страны, просили передать нам тех, для кого не окажется мест. Таких не нашлось. Мы продлили срок приема... — Он бессильно развел руками.

— Нет, Дмитрий Петрович, мне некому писать с этой целью, да и...

— Может быть, вы собираетесь сказать, что не имеете желания писать? — настороженно спросил Озицкий.

— Мне кажется, бесполезно писать такие письма, — откровенно ответил Николай.

Говорить с Озицким подробнее не хотелось, никогда не казался инспектор близким ему.

Озицкий пристально взглянул на него, быстро отвел глаза, словно жалея, что дал увидеть себя воспитаннику в минуту растерянности и душевной слабости.

— Что привело вас, Бахарев, ко мне? — спросил он сухо и отрывисто.

— Я хотел бы поговорить с отцом ректором.

И снова тень неуверенности и тревоги легла на лицо инспектора; видно, сильно сдали у него нервы за последнее время и нелегко давалось ему обычное спокойствие.

— Ему сейчас, Бахарев, не до разговоров с воспитанниками, — грустно ответил инспектор. — Но я передам ему вашу просьбу. Может быть, завтра, после обедни.

Николай, недоумевая, смотрел на Озицкого.

Понизив голос, инспектор сказал:

— У нас большая беда, Бахарев. Арестован Шилин, взята подписка о невыезде с отца Михаила Радецкого. Наверное, и ему придется предстать перед судом...

Воспитанники разъехались на практику и на каникулы, не более десяти человек жило сейчас в семинарии. Но, видно, последние события, уход и отречение нескольких семинаристов и священников, а самое главное — нависший над ректором и работниками семинарии суд, сильно напугали и взволновали всех. Еще настороженнее и менее откровенны друг с другом стали семинаристы, еще деятельнее выводывал их настроения Панько. И все-таки вся семинария была полна разговорами, осторожными, с оглядкой, с недомолвками. Впрочем, правды не скроешь. Какую-то часть этой правды Николай видел и раньше и многое бы понял, если бы тогда смстрел на окружающее другими глазами.

Глядя на неприятных юрких людишек, появившихся во дворе семинарии то с шифером, то с дровами, кутивших в семинарской трапезной вместе с Шилиным, глядя в нагловатые глаза Шилина, видя, как он сорит деньгами, Николай давно чувствовал: здесь обман, грязь, подлость. Неужели ректор, более опытный, умудренный жизнью, не ощущал этой грязи? Скорее другое — он просто предпочитал делать вид, что не замечает.

В магазине олифа двадцать два рубля килограмм, а Шилин ее по восемнадцать рублей привозил. Отводил в сторону отец ректор свой взгляд, принимая и утверждая счета, в которых даже фамилии лица, продавшего олифу, не было, словно не понимал, что за словами «куплено от неизвестного лица» стоял просто самый обыкновенный вор, ему было выгодно продать украденную олифу по любой цене, даже дешевле, чем в магазине, только бы продать поскорее.

Ректор ни о чем не спрашивал Шилина — ведь в запасе оставалась возможность в случае чего развести руками и притвориться человеком не от мира сего, который не знает, что на свете есть олифа и зачем она существует.

И вот настал день, когда завхоз семинарии был арестован по делу об убийстве после кутежа.

Шло следствие, и раскрывалась картина новых и новых преступлений. К пьянкам и разгулу толкали «дела», поручаемые Шилину.

Надо было достать лампадное масло, чтобы день и ночь горело оно перед образами в поповских квартирах.

— Лампадное масло можно заменить вазелиновым, — подсказали в семинарии.

Оборотистый Шилин ловит указания на лету. Бочками исчезает из аптеки вазелиновое масло, и одна за другой затейливаются лампадки перед богородицами и спасителями.

Семинарское начальство было довольно Шилиным. Еще бы! Человек какой редкостный попался — все достанет, и дешевле, чем в магазине. Шилину прибавили жалованье. Шилину дали бесплатное питание. Круг обязанностей его все расширялся. Ректор хочет купить «Волгу», хочет построить дом, хочет, чтобы его дочь играла на пианино. Все желания исполняются.

Сыплются взятки. Денег жалеть нечего — верующие еще дадут.

Здесь умели наталкивать на воровство. Молодой и неопытный прораб нуждался в деньгах. В семинарии их хватает. Прораба охотно ссудили деньгами. Раз. Другой. А потом потребовали: расплачиваться надо. Прораб просил подождать, обещал достать денег, но заимодавцы были неумолимы: «Отдай долг цементом, алебастрой». Так стал на воровскую дорожку еще один человек.

И вот настал день, когда пришлось признаться:

«Новое здание духовной семинарии построено ее руководителями целиком из похищенных у государства строительных материалов. Духовная семинария собирала вокруг себя всех жуликов и спекулянтов».

Следствие распутывало все новые нити...

Долго тянулась эта ночь для Николая, не раз просыпался он и лежал в темноте, объятый невеселыми мыслями.

Утром негромкие удары колокола позвали в церковь. Воспитанники заторопились — праздничный день, владыка служит будет, а сейчас каждый семинарист на учете, надо прийти пораньше, к самому облачению преосвященного, присутствовать при минуте, когда опояшут его набедренным плащом — мечом духовным, когда владыка, поцеловав сверкающую митру, возложит ее себе на голову.

Не отдавая себе отчета, зачем он это делает, пошел за ним и Николай.

Странное чувство владело им. Еще недавно стрепетом и благоговением поднимался он по ступенькам храма, с готовностью опускался на колени, обращаясь к богу с горячей молитвой, веря и надеясь получить от него помощь.

Сегодня он стоял отчужденный, словно пробудившись от долгого сна. То, что кажется во сне естественным и простым, часто становится при свете дня нелепым, подчас диким. Так

было сегодня и с Николаем. У свечного ящика раздавался звон денег. Тонкие серые свечки переходили из рук старосты в руки богомольцев. Хилые язычки пламени бросали свой свет на иконы. С темных досок диковато смотрели глаза святых.

Вокруг еле слышно шелестело: «Спаси господи... Микола милостивый... Варвара-великомученица... святые равноапостольные Борис и Глеб...»

Люди метали поклоны перед образами, тянулись к ним губами. Брезгливость вдруг овладела Николаем: как он мог целовать эти раскрашенные доски, влажные от прикосновений десятков губ!

Худенькая старушка, сжимая свечку в руках, оторопело оглядывалась по сторонам.

— Бабочки, ломота у меня в костях, кому лучше свечку поставить — снять бы ломоту-то.

— Егорию, — решительно посоветовала дородная женщина в шелковом лиловом платке.

— Окстись-ка! — возмутилась ее соседка. — Егорий-то, по-ди, скотину пользуется.

— Власий — скотину...

— Нет, Егорий...

На них начали оглядываться, и, опомнившись, обе спорщицы торопливо закрестились.

Николай усмехнулся. Прав Володя, уверявший когда-то, что культ святых остался от времен языческого многобожия. У католиков еще чище. Есть святые — покровители банкиров и авиаторов, автомобилистов и тюрем, даже телевидение отдано под опеку святой Клары на основании легенды, что она, больная, не могла пойти к пасхальной службе, но, «по божьей милости, увидела и услышала ее в своей монашеской келье».

Там, за стенами церкви, шла большая жизнь, трудились и боролись люди, а здесь люди стояли на коленях, прижавшись лбом к полу, покорные, смиренные, несчастные.

Там люди рвались в космос, а здесь человеку говорили: «Ты раб, ты червь ничтожный, во грехах родился, во грехах и помрешь, и удел всей твоей жизни — слезно сокрушаться о своих грехах».

Служил обедню отец Алексей, любимец владыки. Его асимметричное пухлое безбородое лицо в рамке длинных, до пояса, женских волос, тусклые глаза то и дело искательно обращаются к владыке. Отец Алексей окончил всего шесть классов, с трудом одолел семинарские науки, но сейчас он пастырь стада Христова, церковь дала ему право учить и наставлять



людей, разрешать их сомнения, направлять их в жизни. Что может он, что знает он, не прочитавший и десятка книг? А прихожане целуют ему пухлую руку, слушают его проповеди, спрашивают у него совета.

Раскрываются и закрываются царские врата, ведущие в алтарь, звучат слова молитв, торжественно движутся вокруг церкви дьякон и священники, совершая хождение перед досками, с которых смотрят равнодушные глаза святых.

Бородатый широкоплечий дьякон становится на амвоне, поднимает орарь<sup>1</sup> и возглашает ектенью:

— «О господине нашем преосвященнейшем Антоние госпо-  
ду помолимся».

Дьякон не поет, он рычит рокошущим басом:

— «О богохранимей стране Российской, властех и воинстве  
ея...»

Николай словно в первый раз сегодня слышит эти слова, и по-новому звучат они для него.

Называя себя пастыри божьи патриотами. Наставники семинарские не раз говорили: «Между религией и коммунизмом нет противоречий, поэтому церковь-де существовала и будет существовать».

Простые люди села Орловки сказали Николаю обратное.

Разве не слышал Николай проповедей, в которых пастыри уверяли, что в воскресный день трудиться нельзя, ибо, трудясь, люди забывают о молитве? Разве, сами исправно лечась у врачей, не заверяли пастыри, что незачем обращаться к врачу, ибо «только бог поможет, только он властен над человеком»?

«Нет, — думал Николай, — с такими взглядами в коммунизм не придешь. Нельзя примирить непримиримое. Прав дядя Андрей».

В семинарии его учили быть осторожным и гибким: «Надо принаравливаться к требованиям времени». Все достижения науки, все достижения народа учили объяснять «промыслом божьим». А неудачи — слабой верой.

«Запущен спутник или ракета — надо благодарить бога, который допустил это и вразумил ученых».

«Потрудились хорошо колхозники, собрали высокий урожай, опять богу слава», — учили наставники.

Отец ректор немало рассказывал о «высокой христианской культуре», основе всей европейской культуры, «о передовой роли церкви в мировом прогрессе». Николай помнит, что говорил он долго, забыл только рассказать о борьбе церкви с

---

<sup>1</sup> Орарь — часть дьяконского облачения.

культурой, мракобесии и темноте, источником и рассадником которых была русская православная церковь.

А ведь отец ректор сейчас тоже в церкви. Молится в алтаре. «Не ищите богатств земных», — говорил он когда-то Николаю. Приводил слова Иоанна Златоуста, что на земле нужно выполнить сначала свой гражданский долг, а уж потом помышлять о царствии небесном.

«Хозяйство семинарское большое, — рассказывал отец ректор. — Легче всего уйти на покой, плыть по течению, но человек, когда живет, должен действовать. Хотя, — он сделал руками отстраняющий жест, словно отталкивая что-то невидимое, — вы сами понимаете, что богатств земных не ишу».

Не ищет! Так зачем были эти взятки, эта роскошная «Волга», эта сотня тысяч на постройку дома?

Вот и сейчас отец ректор молится о богохранимой стране российской и ее властях, а сам готов в любой день нарушить законы этой страны. Молится о благоденствии людей, но готов не задумываясь толкнуть этих людей на преступления. Отец ректор глубоко верит в бога, значит, бог ничуть не мешает ему творить беззакония, идущие во вред людям и государству.

А служба между тем шла своим чередом. Юрия не было, и обязанности одного из иподьяконов исполнял сегодня Нестор Трошкевич; он просил об этом, как об особой милости, желая напоследок участвовать в службе. Семинарию он окончил, но ни дьяконом, ни священником не стал. Иной путь открывался перед Нестором, значительно более заманчивый для него. Руководители семинарии посылали его в духовную академию. Перед ним открывались двери к высшим церковным должностям. Станет преподавателем семинарии, а может быть, примет монашество, и тогда не за горами епископская мантия.

А сейчас Нестор раболепно поддерживает под руку обрюзгшего и чем-то недовольного владыку, согнувшись в три погибели постилает ему коврик под ноги, припадает к старческой сморщенной руке. Пройдут годы, и руку Нестора станут целовать иподьяконы, сгибаясь перед ним в раболепном поклоне. Его руку, которая сжимала автомат... Руку, на которой, может быть, готова проступить кровь русских людей. И он тоже станет молиться о богохранимой стране российской, он, бывший в рядах ее врагов.

Но разве это главное? Ну, пусть бы остался отец ректор чист во всем, пусть бы никакая тень не упала на владыку. Пусть были бы во всем достойными. Все равно велика их вина, так как вольно или невольно обманывали они людей, вводили их от жизни и борьбы, так как из глубины и мрака веков

протащили в наши дни страх перед богом, молитвы, алтарь и жертвенник.

Служба подходила к концу.

«Тело Христово примите!» — раздался возглас.

И вдруг с удивительной ясностью и внутренним прозрением увидел Николай кровавый источник этого обряда, идущий из давних, языческих времен. Хотелось крикнуть: «Люди, опомнитесь! Вы же в двадцатом веке живете!»

А очередь женщин и стариков уже шла к причастию. Были здесь и дети. Серебряная ложечка мелькала в руках священника, подносила к старческому рту, оказывалась в чаше с причастием, а следом касалась чистых губ малыша.

«Причащается раб божий... во исцеление души и тела...» — звучал торопливый говорок.

— Бахарев! — Николая догнал духовник — отец Николай Лупьянов. — Отец ректор просил вас зайти к нему в кабинет. Он сейчас будет.

В маленьком кабинете отца ректора горела неугасимая лампада. Христос в золотом венчике и красной ризе поднял благословляющую руку, в углах иконы парили пухлые херувимы с короткими белыми крылышками. На вешалке — черная ряса, семинарская спецовка отца ректора. Над черным диваном — портрет преосвященного, где владыка смотрит надменно и властно. На обтянутом черной клеенкой столе — последние номера журнала «Вестник Московской патриархии».

Дверь распахнулась. На пороге выросла высокая фигура ректора. Он похудел с той поры, как Николай видел его в последний раз, в движениях нет былой легкости и уверенности. Голова чуть ушла в плечи.

— Николай! — Ректор шагнул вперед и даже руки слегка развел, словно готовый заключить Николая в объятия.

Радостный, задушевный тон и движение это показались Николаю полными фальши. Больше всего он боялся, что отец ректор положит ему, как бывало, свою руку на плечо.

Побледнев, Николай отступил на шаг.

Ректор пристально посмотрел на него:

— Дмитрий Петрович сказал, что вы, Бахарев, хотели меня видеть. Я рад. Мне тоже нужно поговорить с вами. Посидите несколько минут, пока я освобожусь.

Только сейчас Николай заметил, что из-за спины ректора выглядывают Нестор и отец Николай. Широким жестом руки ректор пригласил всех сесть.

Николай примостился на стуле у окна.

— Я очень рад за вас, Нестор, — сказал отец Михаил, обращаясь к Трошкевичу. — Будете учиться в академии. В Ленинграде встретитесь со столпами православной нашей церкви. Вы достойны этого. Вы были лучшим семинаристом.

«О чем он говорит? — с ужасом думает Николай, глядя на ректора. — Разве он не знает, кем был Нестор, какая тяжесть прошлого лежит на нем? Не может не знать! Он же сам был в дни оккупации в Западной Украине...»

— Я, Нестор, ректору академии напишу, — продолжал между тем отец Михаил. — Характеристику мы вам дадим самую положительную, попросим окружить вас и заботой и вниманием. Так и напишу, что церковь в будущем на вас положиться сможет, станете ее украшением.

Достав бумагу, ректор легким и красивым почерком стал набрасывать письмо, а нить беседы перешла к духовнику.

— Вы, Нестор, всегда радовали нас, — говорил Лупьянов, поглаживая свою апостольскую бороду, — надеюсь, станете радовать и наставников академии, памятуя, что стадо Христово ждет хороших пастырей.

Крепко стиснув руки, сидел Николай. Нет, не случайно опекался Нестор в семинарии, не случайно послан в академию, не случайно напутствуют его столпы семинарские. Каждый шаг бандеровцев в те страшные годы был связан с церковью, недаром сам Степан Бандера, глава украинских националистов, был сыном сельского попа.

Стремительно мелькало в сознании Николая все читанное и слышанное о тех страшных днях. Яновский лагерь смерти, посыпанная пеплом сожженных людей трагедия Львова, истребление львовской интеллигенции, грабежи, убийства, желто-голубые знамена националистов.

И ко всему этому приложена кровавая рука бандеровцев и духовенства.

Николай знал биографию отца ректора.

«Что же, — когда-то думал он, — обычная священническая биография: «Учился, принял сан, стал пастором».

«А ты посмотри, кто окружает его!» — говорил ему еще тогда Володя.

Фигуры одна мрачнее другой встали рядом с отцом ректором, бросая на него кровавую тень. Здесь и переводчик, верой и правдой служивший гестаповцам и сбежавший с фашистами в грозный час расплаты. Здесь и родной брат отца ректора, который все силы прилагал, чтобы угодить фашистам, обездолил не одну семью, сведя со двора последнюю корову, помогая гитлеровцам грабить крестьян. Здесь и комендант полиции в городе Шумске, организатор кровавых расправ над советскими

людьми, учинитель облав на партизан, получивший от гитлеровцев чин офицера, организатор карательно-истребительного батальона.

А ведь отец Николая, колхозник Петр Бахарев, тоже погиб на Украине.

Пожары и кровь, издевательства и смерть... Проклятия обездоленных и осиротелых падают на головы националистов, но есть в семье свой молитвенник, предстоящий перед престолом господним. Это священник Михаил Радецкий...

Отец Михаил склонился над письмом. Глядя на его оживленное и несколько самоуверенное лицо, Николаю невольно хочется спросить: «Кто ты? Только ли тени кровных и близких бросают на тебя мрачный, кровавый свет, а сам ты внутренне чист или и ты несешь на своей совести темные, страшные пятна? Что делал ты в дни, когда они грабили, убивали, насиловали? Почему оторвался от родных тебе краев и заехал так далеко? Почему близок тебе монархист отец Симеон, бандеровец Нестор Трошкевич?»

Но ведь и отец Николай Лупьянов активно служил фашистам под Харьковом и бежал вместе с ними. Давно вернулась назад его семья, а отец Николай все мечтал остаться на чужбине, лишь бы не вернуться туда, где случайно встреченный человек может бросить в лицо: «Это ты помогал фашистам, это ты сбежал с ними от народного суда!» В 1948 году его задержали и передали советским властям. Военный трибунал приговорил его, как изменника Родины, к 25 годам работы в исправительно-трудовом лагере, и только болезнь сократила Лупьянову срок наказания.

А теперь он в семинарии, поставлен духовником, в его власти исповедовать семинаристов, отпускать им грехи, учить праведной жизни.

Вот они, наставники и учителя! Неприкрытый монархист Симеон Новожильцев, изменник родины Лупьянов. Так чего стоят их слова о патриотизме, о религии, у которой якобы нет противоречий с коммунистическим мировоззрением и наукой?

А в каждом классе семинарии висят образа, на устах у живущих здесь имя божие. Ханжество, фальшь во всем! Нет, прочь отсюда!..

Отец ректор встает, запечатывает письмо, обнимает Нестора, напутствуя сердечными словами, благословляет его отец Николай Лупьянов.

Николай, выпрямившись, встает.

— Будущий светильник церкви... бывший бандеровец! -- резко говорит он.



— Не богоотступником стану — богоборцем!

Что-то кричит духовник, что-то твердит перекосившимися губами Нестор. Николай не слышит ничего, он видит только бледное, опустошенное лицо отца ректора...

И вот они вдвоем. Они так и стоят друг против друга, напряженные, готовые к борьбе.

В лице отца Михаила нет больше приветливости и дружелюбия, он ясно отдает себе отчет в настроении Николая. Отец ректор бледен, губы его дрожат и в глазах страшная ненависть.

И этого человека любил Николай, мечтал стать таким, как он!

— Значит, правду мне написал Юрий Мигаев, — медленно сказал ректор.

Еще совсем недавно хотелось о многом поговорить с отцом Михаилом, честно рассказать обо всем, что случилось на практике, вместе искать правды и даже наивно верилось, что рассказом своим поможет и ректору понять правду. Сейчас знал: говорить бесполезно.

— Правду, — коротко ответил Николай.

— Значит, еще одним богоотступником больше стало? — Голос у ректора срывался, и каждое слово давалось ему с трудом.

— Нет, не богоотступником. Этого мало, — твердо и гневно сказал Николай. — Не богоотступником стану — богоборцем!

Он круто повернулся и вышел из низкой, тесной комнаты.

Одного жаль, что не сказал Михаилу Радецкому: «Разваливается дело вашей жизни. На корню гниет. И ваш бог не в силах спасти его, ибо и бога-то никакого нет».

Нет бога!

Эта мысль не несла больше тоски об утраченной вере. За ней стояло освобождение. Новые, прекрасные и мужественные истины утверждались в сердце.

Нет бога! Нет тупой покорности, ханжества, тупости, нет духовного рабства.

Есть человек, его ясный ум, свободная воля. Есть жизнь, огромная и прекрасная. Есть труд и наука.

И только одного до слез жаль: потерянных лет. На что ушли годы? Петр Пороховников за свой труд награжден орденом, Таю Макарову уважают в колхозе, да и все его одноклассники уже многое сделали в жизни. Только он, Николай... Что сделал он?

## ОСВОБОЖДЕНИЕ



риземистое, словно вросшее в землю здание духовной семинарии, тяжелая церковная ограда навсегда осталась за спиной.

Светило солнце. Улица была разрыта: прокладывали газовые трубы. Осторожно и медленно, объезжая насыпь, проползал со стройки на стройку экскаватор, вытянув свой железный клюв. Деловито топоча ножонками, взявшись попарно за руки, переходили улицу ребяташки из детского сада. Вонзив когти в столб и пристегнув себя поясом, исправлял электросеть монтер. Улица жила своей простой, повседневной жизнью. Каждый делал что-то для других людей и знал, что другие делают для него. На оживленном перекрестке Николай свернул на главную улицу. Кажется, только сегодня увидел он мир во всех его красках, ароматах, мир огромный, деятельный.

Что ждет его впереди, Николай не знал, но был согласен на все — копать землю, носить тяжести, делать что угодно, только бы войти в эту жизнь нужным человеком, знать, что труд его приносит пользу.

Больше всего хотелось бы Николаю сесть сейчас в поезд и оказаться в далекой Сибири, на шахте.

«Дядя Андрей! Вот я... Ты прав. Во всем прав. Помогите стать человеком».

Но удерживала гордость. Сам он запутался — сам и распутаться должен. А к Андрею Петровичу, к которому так рвется его душа, он придет, но придет позже, когда твердо станет на ноги. Чтобы не стыдиться, а гордиться мог сыном своего брата.

Горком комсомола направил Николая на завод.

Но, раньше чем приступить к работе на заводе, захотелось увидеться с матерью. Как отнесется она к перемене в его жизни? А может быть, она будет рада этому? Не прошла же и для нее даром встреча с Андреем Петровичем, беседы с ним.

Когда-то, на горе Николаю, мать повела его за собой, теперь его черед: он покажет матери правду, большую человеческую правду, перед лицом которой неминуемо рассыплются поповские хитросплетения...

И вот Николай сидит в знакомой с детства комнате. Ласково и тревожно смотрят на него глаза матери.

Он сказал все и ждет ее слова.



— А я все мучилась, Колюшка, — в тихом раздумье произнесла она. — Все себя корила — зачем ты в семинарию пошел! Отца твоего все вспоминала: ведь не верил, а человек-то какой был!

— А ты? — требовательно спросил Николай.

— Я? Что я? — неопределенно ответила мать. — Таиса вот все ко мне ходит. И книжки дает и про жизнь обсказывает... — Мать умолкла.

Николай чувствовал: нелегко и ей побороть в себе привычные чувства, но все меньше в ее душе остается места старому, обветшалому.

О приезде Николая Бахарева и о том, что он порвал с семинарией, в селе стало известно в тот же день. Вечером комната была полна народу.

Петр шагнул по комнате:

— А я себя часто ругал и вот ее, нашего секретаря комсомольского, — показал Петр на Таю. — Отмежевались, ушли в сторону, а нет чтобы бороться за тебя до конца.

И Тая поддержала его:

— Глупо, конечно, Николай, сейчас самокритикой зани-



маться, а только проглядели мы тебя. Хорошо, что сам на свет вырвался.

— Ты каяться кайся, а сама вперед смотри, чтобы еще кого не проглядеть. Мы лекции читаем, а церковники и сектанты разными путями к человеку подкрадываются, — говорил Пороховников. — Вон смотри, какой момент отец Георгий выбрал, чтобы к Прасковье Семеновне в душу влезть: муж погиб, сын болен, а он тут как тут с молитвой.

— Ох, Коля, — засмеялась вдруг Тая, — какую баню нам здесь дядька твой задал! Он и в школе побывал, и в парткоме. и у нас в комсомоле. Нина Сергеевна аж всплакнула от него.

— А вообще-то он у тебя с головой, — одобрил Петя. — Мы теперь по-новому с людьми работаем. Лекции всякие, конечно, вещь нужная, а только кто верит, тот на них не больно ходит, так мы сейчас индивидуальные беседы с верующими проводим. Все учителя, комсомольцы. У каждого один-два подшефных.

— А кто у тебя в подшефных? — поинтересовался Николай, повернувшись к Тае.

Она вспыхнула.

— Говори, чего там, — добродушно посоветовал Петя.

— Прасковья Семеновна...

Николай протянул ей руку:

— Спасибо...

По-дружески приняли товарищи Николая.

Зато семидесятилетняя соседка утром приволокла матери ее глиняную макитру, которую уже с полгода забывала возвратить.

— И макитру твою не надобно. Тьфу! Вырастила сына! Богоотступника! Иуду! — злобно шипела старуха.

Мать не выдержала:

— Иуду? Да он по правде жить хочет, по чести!

— Приди, приди в церкву — мы тебе отпоем за сыночка!

Мать выпрямилась:

— И не приду! Не ждите!

Прасковья Семеновна уговаривала сына остаться в колхозе.

— Нет, мама. На завод пойду. Там буду новую жизнь начинать...

На завод Николай пришел не без робости.

Волновало: справится ли с работой? Боялся и другого — любопытных и насмешливых глаз, боялся издевки над его прошлым.

Но столкнулся он не с любопытством, а с заботой, не с насмешками, а с вниманием и одобрением.

У каждого в бригаде нашлось для него доброе слово, а мастер то и дело оказывался рядом. Нет, он не вмешивался, не отстранял своего ученика, просто задерживался на минуту позади Николая, смотрел из-за его плеча и, бросив одобрительное: «Так держать!» — отходил. От этого спокойнее становился Николай, увереннее действовали руки...

Вечером Николай шел знакомой улицей. Что ждет его здесь?

Немало прошло времени с того дня, когда, провожая Светлану из лектория, остановился у зеленой калитки. Может быть, давно не живет здесь Светлана. Может быть, никогда и не вспомнила о нем.

Ничего не хотел он сейчас от Светланы Даниловой, не надеялся, что возобновится дружба, которая так горько оборвалась. Просто Светлана должна знать, как повернулась его жизнь.

С бьющимся сердцем постучал в калитку.

Открыл высокий, уже пожилой человек, видно отец Светланы.

— Светлану? Дома... Да вы проходите.

Дома! Сейчас он увидит ее. Что будет потом — все равно. Увидит.

— Нет, спасибо, — смущенно пробормотал Николай. — Если можно, позовите ее сюда...

— Светлана! — крикнул отец.

Легкий стук каблуков, светлое платье. Она! Еще нежнее, еще красивее.

При виде Николая оживление Светланы погасло, лицо ее стало напряженным, она даже отступила назад, приготовилась захлопнуть калитку. В голосе были и тревога и недоумение:

— Вы? Что вам надо от меня?

— Светлана! Я пришел... Я работаю... Я токарь на заводе. Светлана!..

В этот вечер Николай писал: «Ты прости меня, дядя Андрей, что в тот день сбежал я от тебя. Только никуда я от тебя не ушел. С того самого часа ты со мной оказался. Твоими глазами я все увидел. Работаю я сейчас, дядя Андрей, на заводе...»

Одна мысль настигала другую, хотелось рассказать, как прозрел, но сегодняшняя жизнь уже захлестнула — писал о заводе, о товарищах...

Дни летели стремительно.

Надо было быстрее овладеть станком, не отставать от товарищей, наверстать упущенное: уйму прочитать, узнать. И опять встречи со Светланой. Встречи, за которыми не стояла, как прежде, тревога. Теперь не о чем было умалчивать, нечего скрывать.

Светлана слушала его рассказы о мастере Илье Ивановиче Бондарчуке; о веселом и озорном Василе Трегубове, который на станке работал, как песню пел; об уверенном и спокойном Геннадии Григорьеве, их бригадире, ровеснике Николая, с которым советовались даже пожилые рабочие.

Николай с жадностью читал газеты, его интересовало все: и атомный ледокол, в который сила человеческого разума вложила жизнь, и смелые операции на сердце, и прекрасная игра Вана Клиберна.

В свободное время бродили они со Светланой шумными улицами и тихими окраинами, сидели в кино. И повсюду для Николая открывалось новое. Он, словно человек, пробудившийся от длительного сна, стремился охватить все, что до этого видел и не замечал или воспринимал в искаженном свете.

На широком экране кино перед ними проходили полные огромного оптимизма кадры картины «Коммунист». Николай, сам не замечая того, крепко сжимал руку Светланы. Вот он, коммунист, настоящий герой, отдающий всего себя большой идее.

А разве не таким был в те годы его отец или дядя Андрей? И даже трагическая судьба героя не вызывала мрачных мыслей.

Это настоящее счастье! Счастье бороться, побеждать, и, даже если придется погибнуть в борьбе, счастье победы не станет меньше.

Новая книга Бытия открывалась перед Николаем. Бытия человеческого, подвига великого народа.

Но пришлось Николаю еще раз столкнуться с той грязью, что окружала его в годы семинарской жизни.

На суде в переполненном зале он сидит вместе с Виктором Топоровым и Володией Остапченко. С болью в сердце смотрит Николай на Радецкого. Когда-то он любил ректора, казавшегося ему таким умным и обаятельным, считал его святым человеком. И вот он на скамье подсудимых, среди насильников, воров, взяточников, свивших гнездо в семинарии. Сидит, втянув голову в плечи.

На нем сегодня черный галстук, темный, неброский костюм. Он привык думать о своей внешности. Многих обманывала эта внешность! Больше не обманет!

Пусть показания произносились еле слышным голосом, сопровождались попытками уйти от ответа, но они даны.

— Да, виновен, — прозвучало в зале, вызвав и возмущение и вздох обиды у тех, кто еще недавно верил отцу Михаилу.

Чувствовал ли подсудимый Радецкий, бывший ректор семинарии, что у многих из тех, кто сидел в зале, рухнула в эту минуту вера?

Допрашивая, судья поднимает на него внимательные, чуть уставшие глаза.

Судья гораздо моложе Радецкого, но хорошо знает: ничто так не шатко, как ложь. Никогда не устоять ей перед лицом истины.

Судья терпелив. Не повышая голоса, спокойно напоминает он Радецкому факт за фактом.

— Да... да... так, — срываются признания с губ Радецкого. — Да. Получалось как-то, что деньги верующих шли на подкуп, взятки, разврат, оплату краденого.

И вслед за каждым его словом вздох проносится по залу и опять наступает напряженная тишина.

Как бы хотелось Николаю видеть лицо бывшего ректора семинарии!

Что думает он сейчас, когда в зале за его спиной раздаются возгласы возмущения и негодования?

А вопросы, обстоятельные и прямые, требуют ответа, и Радецкий не выдерживает.

— Высшее духовенство епархии — люди морально нечестные, — говорит он. — Они насаждают ложь, клевету, разврат. Они преследуют только свои корыстные интересы. Те, кто дает взятки, лжет, клеветает, быстрее посвящаются в сан священника. За четырнадцать дней, что я сижу на этой скамье, я многое понял.

«Пойми же до конца! — хотелось крикнуть Николаю. — Порви со своей прошлой жизнью. Загладь свое темное поповское прошлое честным трудом!»

Николай не стал дожидаться приговора.

Другое занимало его мысли. Хотелось выйти к столу и спросить с Михаила Радецкого за ту вину, по которой суд не предъявлял обвинений. Хотелось спросить ответа за напрасно потраченные годы, за потерянные силы. Спросить ответа за тех простых людей, которых продолжают обманывать пастыри благочестивые.

Но и такой суд придет. Николай верил в это. Произнесут его история и народ, произнесут над пастырями божьими, над религией, какой бы она ни была, любого вида и толка, пото-

му что любая религия была и остается «духовной сивухой», опьяняющей сознание людей, отрывающей их от больших земных дел.

Николай верил: настанет день, когда история и народ произнесут свой приговор, единственно возможный и окончательный.

День суда еще впереди. И он недалек.

Но все силы отдаст Николай, чтобы приблизить этот день

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Ловец душ человеческих . . . . .	3
Глава II. Выбор сделан . . . . .	13
Глава III. В тихой обители . . . . .	22
Глава IV. Разговор в темноте . . . . .	26
Глава V. Избранники божьи . . . . .	34
Глава VI. Словесная паутина . . . . .	44
Глава VII. В стенах и за стенами . . . . .	55
Глава VIII. Голос из другого мира . . . . .	67
Глава IX. Господь бог и книга Левит . . . . .	77
Глава X. Но есть еще евангелие! . . . . .	88
Глава XI. Живое и мертвое . . . . .	96
Глава XII. Побег от правды . . . . .	104
Глава XIII. Пастыри благочестивые . . . . .	114
Глава XIV. «Насмотрелись на вас!» . . . . .	123
Глава XV. День последний . . . . .	136
Глава XVI. Освобождение . . . . .	151

## К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге просим  
присылать по адресу: Москва, А-47,  
ул. Горького, 43. Дом детской книги.

---

Для старшего возраста

*Туренская Валентина Ионовна,  
Мелибеев Петр Петрович*

КОНЕЦ ТИХОЙ ОБИТЕЛИ

(«Святые» тенета)

Ответственный редактор *В. М. Шукарь*  
Художественный редактор *А. В. Паница*  
Технический редактор *М. А. Кутузова*  
Корректор  
*С. А. Ведешина и Л. И. Гусева.*

Сдано в набор 3/XI 1961 г. Подписано  
в печать 14/III 1962 г. Формат 60×90<sup>1/16</sup> —  
10 печ. л. (9,42 уч.-изд. л.). Тираж  
115 000 экз. А04081. ТП 1962 № 396.

Цена 38 коп.

Детгиз, Москва, М. Черкасский пер., 1.

---

Фабрика детской книги Детгиза.  
Москва, Суцевский вал, 49, Заказ № 1748.



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР**

В 1962 году для детей старшего возраста выйдут в свет следующие книги:

***Либединский Ю.* ВОСПИТАНИЕ ДУШИ.**

Автобиографическая повесть о сыне врача, который становится идейным борцом за советскую власть, коммунистом.

***Анненков Ю.* ШАХТЕРСКИЙ СЕНАТОР.**

Повесть о талантливом чилийском поэте и всемирно известном борце за мир, коммунисте Пабло Неруде.

***Квин Л.* ЧТО ПРИНЕСЕТ УТРО?**

Повесть о последних днях буржуазной власти в Латвии, о революционной борьбе трудящихся за свободу родины и о победе в этой борьбе.

***Мелибеев П.* САДОВАЯ, 16.**

Повесть о советских школьниках, о том, как, создав производственно-ученическую бригаду, строили дом и, работая, помогали во всем друг другу.

***Ардаматский В.* БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ.**

Повесть о героических приключениях и борьбе отважных патриотов разных национальностей в одном из фашистских концлагерей во время Великой Отечественной войны.

***Коряков О.* ЛИЦОМ К ОГНЮ.**

Повесть о молодых сталеварах одного из уральских заводов, о людях коммунистической морали.

Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.

Книги высылаются также по почте наложенным платежом отделом «Книга — почтой» областных, краевых и республиканских книготоргов. Можно заказать книги и через отдел «Книга — почтой» по адресу: Москва, Б-120, ул. Чкалова, 48-б, магазин Москниготорга № 94.





